

## **Д.П. Семёнов. Школьные годы**

Поступил я в школу Карла Ивановича Мая в январе 1864 г.

Лишившись своей матери, когда мне было пять месяцев, и проведя своё детство в деревне (Рязанской губ., Данковского у.) у её тетки, моей крёстной матери<sup>1</sup>, где у меня не было сверстников, я находился в обществе моей тётки и англичанки гувернантки. Поэтому я привык с начала своей жизни к некоторому одиночеству. Пяти лет я уже умел читать и писать по-русски, английски и французски, а также знал несколько стихов и умел их декламировать на всех этих трёх языках, Одиночество и общество взрослых придали мне некоторый оттенок серьёзности и мечтательности. В деревне я прожил до семи лет, до самой кончины моей крёстной. Отец мой, овдовев, отвёз меня в деревню, а затем пребывал за границей и совершил своё путешествие в Центральную Азию.

Имение, принадлежавшее моей крёстной, долженствовало перейти ко многим наследникам, между которыми был и я, было куплено моим отцом, а потому мне часто приходилось бывать в нём и впоследствии. Воспоминания моего раннего детства и позднейшие сделали мне эту усадьбу особенно дорогой, и описание её в некоторых моих школьных сочинениях восхищали впоследствии моих учителей, вследствие некоторой их поэтичности и теплого чувства, в них вложенного<sup>2</sup>.

С семилетнего возраста я был отвезён отцом в Петербург к моей тётке Наталье Петровне Грот, жене академика Якова Карловича Грота<sup>3</sup>, в семью которого я и попал. Здесь моими сверстниками явились два моих двоюродных брата — Николай и Константин Яковлевичи Грот<sup>4</sup>, из которых один был на полгода старше, а другой на полгода моложе меня.

Совместное со сверстниками воспитание продолжалось недолго; через два года отец мой вступил во второй брак и взял меня к себе, где я до поступления в школу был опять единственным ребёнком в семье. Сестра и братья мои, рождённые моей мачехой, появились на свет уже по поступлении моём в школу, да и вообще были намного меня моложе.

Эти обстоятельства, как я уже упомянул, сделали меня ко времени поступления в школу ребёнком несколько своеобразным, привыкшим к уединению и некоторой мечтательности, а также любившим слушать взрослых. Поэтому в некоторых отношениях я был несколько преждевременно более развит, чем мои сверстники, и опередил их, хотя не прошёл основательно и систематически даже того, что они прошли. Вот та подготовка, с которою я вступал в школу и с которою, вероятно, довольно часто приходилось иметь дело её директору при поступлении учеников. Карл Иванович в таких случаях старался определить точно и внимательно, какой степени развития соответствует поступающий и насколько он способен пополнить некоторые пробелы в своих знаниях и нагнать своих сверстников, затем, руководствуясь этим, он и определял их в тот или другой класс.

Домашняя подготовка очень часто не укладывается в те определённые рамки, которые поставлены школьной программой того или другого класса; поступающие часто в одном

---

<sup>1</sup> Екатерина Михайловна Кареева, урождённая Сафонова, она же воспитывала и мою мать Веру Александровну, урождённую Чулкову, свою племянницу. (Прим. Д.П. Семёнова)

<sup>2</sup> Такое описание усадьбы было мною дано в одном русском и в одном французском школьном сочинении. (Прим. Д.П. Семёнова)

<sup>3</sup> Яков Карлович Грот скончался вице-президентом Академии наук. (Прим. Д.П. Семёнова). Я.К. Грот (1812–1893) — филолог, академик Петербургской Академии наук (1856). (Прим. авт.)

<sup>4</sup> Николай Яковлевич Грот впоследствии профессор философии в Московском университете, а Константин Яковлевич профессор славянских языков и славянской истории в Варшавском университете. (Прим. Д.П. Семёнова). Н.Я. Грот (1852–1899), К.Я. Грот (1853–1934). (Прим. авт.)

ушли сильно вперед, в другом отстали, и К. И., как мне кажется, старался принять в тот или другой класс не на основании минимальных познаний, а на основании чего-то среднего между познаниями ученика в тех предметах, где он ушёл вперёд, и где он отстал от сверстников, уже находящихся в школе.

Когда меня привели в школу, то она мне показалась далеко не столь страшной и суровой, какой её или, лучше сказать, школу вообще, рисовало моё детское воображение. Хотя мне было 11 лет, но я был невелик ростом и очень худощав, с густою, курчавою, тёмною шевелюрою. Имея 11 лет, я производил впечатление мальчика лет восьми.

Как только отец привёл меня к К.И. Маю и оставил меня на его попечение, добрый и произведший на меня приятное впечатление, Карл Иванович повёл меня в первый и второй классы на некоторые уроки, где я должен был подвергнуться опросу, а конечно не формальному экзамену, со стороны различных преподавателей.

Из этих опросов или вступительных экзаменов у меня осталась в памяти беседа с преподавателем русского языка и словесности Павлом Игнатьевичем Роговым<sup>5</sup>. Этот преподаватель впоследствии очень основательно ознакомил меня и моих товарищей с русской литературой и имел немалое влияние на наше общее развитие. Не знаю почему, но во время разговора моего с Павлом Игнатьевичем зашла речь об основании Петербурга. Я стал излагать, слышанное мною отчасти от отца, о значении нашей столицы, как торгового устья Волги. Хотя Волга, говорил я, течёт в Каспийское море, но большая часть идущих по ней товаров поднимается вверх по реке и тянется по Мариинской и другим водным системам к Петербургу, а через него и за границу. Поняв значение Волги, как главной внутренней водной артерии России, Пётр Великий понял также, что, соединив её с бассейном Невы каналами, он в Петербурге найдёт, так сказать, торговое устье этой водной артерии, а потому Петербург окажется торговым окном в Европу, прорубленным именно в том месте, где ему естественно надлежит быть.

Такие речи маленького курчавого мальчика, кажется, очень позабавили как Рогова, так и К.И. Мая. Поэтому мне потом несколько раз приходилось путешествовать в самый старший класс гимназии и повторять свои рассуждения о значении Петербурга перед учениками этого класса, которым, вероятно, рассказали о моих рассуждениях.

Результатом знакомства со мною нескольких преподавателей было водворение меня во второй класс гимназии и в середине курса, так как это было в январе. Помню, что мне даже было указано место около середины класса, а именно 15-м в классе, имевшем около тридцати учеников. При этом К. И. сказал мне, что он надеется, что я буду в числе первых, но сажает меня в середину, так как это не должно быть никому обидно. В первый же день моя, похожая на войлок, курчавая шевелюра соблазнила уже моих новых товарищей. Я с трудом мог усидеть спокойно на первых же уроках, так как меня усиленно дёргали за волосы сидевшие сзади меня, совершенно незаметно для учителя. Мне приходилось это выносить молча и не подавая никакого вида, что мне больно, чтобы сразу себя хорошо зарекомендовать своим новым школьным товарищам.

Школьный порядок был такой: три урока от 9 до 12 и три урока от 1 до 4-х, с промежутками между уроками по семи минут<sup>6</sup>. После происходившего в 12 часов завтрака полчаса продолжалась перемена и полчаса занимались гимнастикой. По средам и субботам было лишь по три урока. Таким образом обязательная для всех гимнастика производилась три раза

---

<sup>5</sup> Преподаватель русского языка и словесности, игравший довольно видную роль в школе и состоявший, кажется, вместе с тем, инспектором одной из военных гимназий. (Прим. Д.П. Семёнова)

<sup>6</sup> В старших классах были в некоторые дни (не более 4-х раз в неделю) уроки ещё от 8 до 9 часов утра и чаще всего из древних языков, так что реалисты могли приходиться позже. (Прим. Д.П. Семёнова)

в неделю по полчаса. Весною и осенью в ясные и теплые дни гимнастика без приборов (вольные движения) производилась на дворе и всеми классами одновременно. В этих случаях выстраивались по росту, маршировали, бегали в строю и т. п. Эти упражнения на дворе ученики прозвали Майским парадом. Завтрак состоял из неограниченного количества молока и черного хлеба и одной французской булки каждому. Так как я был не просто приходящим, а полупансионером, то кроме субботы и среды, оставался обедать в школе, а затем с половины шестого до семи и не позже, как до восьми, должен был заниматься приготовлением уроков под некоторым, впрочем, довольно поверхностным, наблюдением воспитателей.

В школе дух товарищества поддерживался усиленно самим Карлом Ивановичем, а также и остальными преподавателями. Так, доносы на товарищей не поощрялись и не принимались никогда. Если нужно было узнать, кто что-нибудь напроказил, причём виновник проказы не был узнан, то иногда наказывался весь класс и освобождался он от наказания лишь тогда, когда по настоянию класса виновный сознается сам, указание же на виновного со стороны других не принималось вовсе в расчёт и не избавляло всего класса от наказания.

Ввиду такого отношения к товариществу, оно держалось довольно крепко, причём держались и не преследовались некоторые обрядности и обычаи, поддерживавшие товарищеский дух. Первым внешним признаком этого товарищества было то, что ученики всех классов от самого старшего до самого младшего говорили друг другу *ты*. Затем были некоторые обрядности приёма в число товарищей. В большую перемену первые полчаса младшие классы, а вторые полчаса — старшие выпускались на двор, где они бегали, играли в разные игры, а зимою в снежки. При этом каждый новичок подвергался со стороны товарищей мытью снегом, т.е. ему тёрли снегом лицо, что происходило свободно так же, как и игры в снежки, в присутствии дежурного на дворе воспитателя. Такому мытью, как поступивший в январе, я подвергался уже на следующий день после моего поступления.

Во втором классе мне пришлось пребывать очень недолго — только до весны, так как с осени я уже перешёл в третий класс. Новым для меня предметом была латынь, которой начинали обучать во втором классе, как раз со второго полугодия. Относительно дальнейшего моего пребывания во втором классе у меня сохранилось очень мало воспоминаний. Помню только, что К. И. верно угадал моё место в классе; по своим успехам я так и оставался около середины и перешёл в третий класс не особенно блестяще, но и без всяких препон и преткновений в виде переэкзаменовок.

В третьем классе мне пришлось просидеть два года, отчасти потому, что я много болел, между прочим корью к весне первого года пребывания в третьем классе. На второй год я опять был серьёзно болен. Помню, что во время этой болезни меня навестил лично сам Карл Иванович Май. Я его узнал, но мне трудно было ему отвечать и, кажется, я отвечал иногда невпопад, так как был в бреду.

В течение двухлетнего с перерывами пребывания в третьем классе я уже вполне освоился со школой, с её порядками, учителями, товарищами и проч., причём у меня стали яснее обозначаться и мои способности, достоинства и недостатки.

На второй год моего пребывания в третьем классе стало уже выясняться, что математика мне гораздо легче дается, чем языки. В это время в третьем классе преподавание арифметики лежало на Арнгейме<sup>7</sup>, бывшем вместе с тем инспектором Мариинского института<sup>8</sup>. Кроме арифметики я перешёл, так сказать, на постоянное получение отличных баллов и в географии, которую преподавал сам Карл Иванович Май с особенною любовью. Помню, что

---

<sup>7</sup> См. с. 40. (Прим. авт.)

<sup>8</sup> Мариинский институт (Кирочная ул., д. 52) — институт императрицы Марии, общеобразовательное среднее учебное заведение. (Прим. авт.)

на меня произвело сильное впечатление его замечание после оказанных мною плохих познаний по географии: «Как тебе, сыну известного географа, не стыдно получать плохие отметки по географии. Тебе, как сыну твоего отца, менее пяти по географии никак нельзя получать». Это на меня оказало такое действие, что после того до самого окончания курса я меньше четырёх с половиною или пяти никогда по географии не получал.

В этом обязательстве я вижу очень удачный приём воздействия на хорошую сторону самолюбия мальчика с целью побудить его к более серьезным занятиям предметом. Впрочем, то же самолюбие, которое в данном случае заставило меня усердно заниматься географией, сделало из меня отъявленного шалуна, способного проделать какую угодно шалость, не заключающую в себе, впрочем, ничего, так сказать, подлого.

Толчком к тому, чтобы сделаться отчаянным шалуном, гордящимся тем, что он никаких наказаний не боится, было первое наказание, которому я подвергся в третьем классе.

Пока я ни разу не был наказан, я гордился такою своею незапятнанностью и мог похвастать, если не тем, что я во всех предметах получаю хорошие отметки (языки у меня хромали, как новые, так в особенности латынь), то по крайней мере своим хорошим поведением и тем, что я ни разу не был наказан.

Однажды во время одного из уроков я был одним учителем поставлен в угол, за нечаянно произведённый мною какой-то шум. Виноватым я себя не чувствовал и стал просить не подвергать меня наказанию, в виду того, что, будучи уже более года в школе, я ни разу наказан не был. Учитель, не помню теперь уже который, остался неумолим. Помню, что я плакал, просил ещё, но ничего не помогло — меня выгнали на остальную часть урока из класса и, что всего хуже, вписали моё имя в штрафной журнал.

С этого времени я и обратился в самого отчаянного во всей школе шалуна, не боявшегося никаких наказаний, и эту репутацию я поддерживал до пятого и шестого класса. Самый страх наказания во мне совершенно исчез, и я, наоборот, стал видеть удовлетворение своего самолюбия именно в том, что я никакого наказания не боюсь<sup>9</sup>.

Действительно, после того, когда меня наказывали, записывая в штрафной журнал и заставляя отсидеть в школе лишний час, на сообщение об этом, делаемое рассерженным учителем, я дерзко отвечал: «Отчего не на два, пишите два часа». Иногда мне и в самом деле удваивали наказание. Товарищи мои немилосердно побуждали меня беспрестанно к каким-нибудь выходкам. Стоило им сказать, что у такого-то учителя ты нашалить не посмеешь или на такую-то выходку ты никогда не дерзнёшь, чтобы при первом удобном случае шалость у строгого учителя или смелая выходка были мною осуществлены.

Каждый обучавшийся в каком-либо учебном заведении, где имеется много преподавателей, вероятно, наблюдал, что между ними имеются такие, у которых шалят и плохо слушаются, и такие, у которых вовсе не шалят и которых слушаются беспрекословно. Первые иногда бывают и вспыльчивы, и кричат, и сердятся, и наказывают, но это ничего не помогает, и их всё-таки плохо слушаются и всё-таки у них много шалят, шумят и т.п. Те же, у которых всё смирно и чинно, никогда не кипятятся, мало или почти вовсе не наказывают, но тем не менее как-то умеют внушить уважение к себе и заставить повиноваться. К числу преподавателей этой второй категории безусловно принадлежал Эмилий Отто, ныне уже покойный. Впоследствии он был первым директором и создателем немецкого приходского училища святой Екатерины. Во время моего пребывания в училище К. И. Мая он преподавал там языки немецкий и латинский и, кроме того, состоял в числе воспитателей. Ему были поручены пансионеры, в дортуаре которых он и сам спал и которых утром он же будил, стаскивая у иных

---

<sup>9</sup> Здесь не лишнее припомнить, что в школе К.И. Мая мальчик образцового поведения мог быть даже и резвым и бойким и притом безукоризненным товарищем. (Прим. Д.П. Семёнова)

вновь засыпавших сначала одеяло, а затем и подушки. Отто настолько умел внушить ученикам повиновение, что пожалуй его боялись больше, чем самого Карла Ивановича Мая, который был вообще мягче и умел всегда стать в такие простые и откровенные отношения с каждым воспитанником, что они хотя, конечно, безусловно слушались своего директора, но чувствовали себя с ним гораздо свободнее, чем с некоторыми из преподавателей, напр. <имер> с Отто. В то время в училище инспектора не полагалось вовсе, и всё дело вёл Карл Иванович сам, но неофициально роль инспектора или помощника директора принадлежала Отто. Когда К. И. почему-либо не было или к нему нельзя было обращаться, как к директору, то обращались всегда не к кому иному как к Отто.

Во время уроков Отто царил всегда такая тишина, что можно было слышать, как муха пролетит. О шалостях никто не помышлял, а потому никто за шалости им и наказываем не был. Вот товарищи мои по третьему классу раз и начали меня уверять, что на уроке у Отто я не решусь выкинуть какую-нибудь шалость. Этого было достаточно для того, чтобы на одном из следующих уроков этого почтенного педагога я выкинул какое то школьничество. Это его очень удивило и он, конечно, записал меня в штрафной журнал, определив мне наказание отсидеть (Nachsitzen) лишний час в школе после уроков. «Отчего не два», сказал я ему, как я это делал с другими учителями. За эту дерзость он учетверил наказание. Однако этим и я ещё не ограничился. Журнал всегда хранился в классе, и всякий мог его видеть, но никто из учеников, конечно, не отваживался делать в журнале какие-либо поправки. Отто записал меня в журнал по-немецки, причём мою фамилию записал не совсем правильно Semionow, вместо Semenow, как пишут мою фамилию на иностранных языках в моей семье. Я поправил ошибку, дважды подчеркнул слово и написал сбоку в журнале «одна грубая ошибка» (Ein grober Fehler). За это, разумеется, я ещё раз был наказан, но зато все товарищи уверовали, что Семёнов действительно никаких наказаний и никаких, даже самых строгих учителей не боится.

Наказаний, мне назначенных, стало накапливаться столько, что по временам для отбытия их меня заставляли приходить в школу по воскресеньям. За мою шаловливость в любой казённой гимназии я бы, вероятно, был исключён, но К. И. меня не исключал, видя, что шалости мои хотя и дерзки, но в общем невинны. Однажды, когда я, кажется, был уже в пятом классе, К. И. стал меня уговаривать и увещевать; ссылаясь на то, что я уже не маленький, он спросил меня, когда же я, наконец, оставлю не подходящие уже к моему возрасту шалости и ребячества. На это я просил, чтобы меня перестали наказывать, тогда я перестану шалить по собственной инициативе, а то выйдет как будто меня заставили прекратить шалости наказаниями. Помню, что К. И. на это сказал мне: «Ты, кажется, не понимаешь, что ты теперь опять говоришь дерзость».

## II

В школе К.И. Мая, во время моего в ней пребывания, часть предметов преподавалась на русском языке, а часть на немецком. Как по этому, так и по самым программам преподавания она ближе подходила к таким немецким приходским училищам, как Петропавловское, Анненское и др., чем к казённым гимназиям. На русском языке преподавались: русский язык, русская история, арифметика, физика, химия, естественные науки и география. На немецком языке — кроме самого немецкого языка и литературы, ещё древние языки, всеобщая история, алгебра и геометрия. Из новых языков, кроме немецкого, был обязателен для всех французский язык, причём проходила и история французской литературы, кроме того желающие обучались ещё и английскому языку. Химия и естественные науки проходились всеми, как классиками, так и реалистами.

Хотя школа и разделялась на классическое и реальное отделения, но ученики обоих отделений сидели на общих для того и другого отделения уроках вместе. Только на уроках латыни и греческого сидели одни классики. Реалисты в это время проходили так называемую купеческую арифметику (*kaufmannisches Rechnen*), а иногда уроки древних языков бывали от 8 до 9 часов утра или от часу до двух по средам и субботам, и тогда реалисты в это время были свободны.

Для преподавания химии при школе имелась, кроме физического кабинета, небольшая лаборатория, помещавшаяся в нижнем этаже рядом с передней<sup>10</sup>. По французскому языку были устроены два раза в неделю для пансионеров и полупансионеров ещё вечерние практические занятия. Эти практические занятия заключались в том, что пансионеры и полупансионеры собирались на час от 6 до 7 в каком-нибудь классе. К ним приходил преподаватель французского языка, всеми очень любимый Жонт, состоявший и в числе воспитателей. В течение этого часа каждый из учеников по очереди рассказывал всё, что ему вздумается рассказывать, но непременно по-французски, а преподаватель поправлял его, когда он выражался неправильно или неудачно. На этих уроках рассказывались иногда страшные приключения и истории, иногда анекдоты и вообще разговоры велись оживлённо и весело.

Обязанности воспитателей, из которых Отто и Жонт жили в самом училище, состояли в дежурстве во время рекреаций, большой перемены днём, а также вечером после обеда, когда могли бегать и резвиться пансионеры и полупансионеры. Иногда воспитатели и сами руководили некоторыми играми воспитанников, как в зале, так и на дворе. Само собою разумеется, что Отто и другой воспитатель, преподававший немецкий язык в младших классах Бем, как немцы, разговаривали при этом с учениками по-немецки, а Жонт, как француз, по-французски, чем увеличивалась ещё разговорная практика в новых иностранных языках.

В дневную перемену, как уже сказано было мною выше, полчаса посвящались гимнастике, а полчаса — свободным играм, причём желающие отправлялись на двор, где также всегда дежурил кто-нибудь из воспитателей. Зимой на дворе любимую игрою была, конечно, игра в снежки. Выходили на двор дети почти всегда без верхнего платья. При игре в снежки разделялись на две партии, становились по обе стороны двора и взаимно бомбардировали друг друга снежками. Снежковое сражение иногда кончалось переходом в атаку начинающей одолевать партии и общим мытьём в снегу побеждённых. На дворе был насыпанный над ледником земляной холм<sup>11</sup>, на котором помещался обыкновенно дежурный воспитатель. Иногда одна из партий занимала холм и защищала его, а другая его атаковала. Я очень любил, особенно когда находился в четвёртом и пятом классах, игру в снежки. Обыкновенно я старался, чтобы моя партия зашла во фланг противнику, постепенно загоняя его в один угол двора, ибо тогда противной партии, очутившейся в одном углу и обдаваемой снежками с двух и с трёх сторон, естественно доставалось сильнее, так как в кучу каждый снежок попадал, и в таком случае иногда получалась полная победа. Противники начинали по одиночке убегать совсем со двора, и наконец обращались в бегство и последние оставшиеся. Для занятия такого положения надо было сбить сначала один из флангов противника, не давая себя сбить на другом фланге; с этою целью усиленно кидались снежки в атакуемый фланг и на него постепенно двигались стоящие против него. Тут часто загоралась очень жаркая борьба, переходившая в рукопашную, т. е. начинали кидать уже друг друга в снег и мыть (тереть лицо снегом).

---

<sup>10</sup> Теперь помещение этой лаборатории отведено также под шинельную, именно та комната шинельной, которая окнами выходит на задний двор. (Прим. Д.П. Семёнова)

<sup>11</sup> Ныне этот холм уничтожен, он находился в правом заднем углу двора, на верху его была довольно значительная площадка, высланная деревянным полом и окаймлённая с четырёх сторон перилами, поднимались на неё по деревянной лестнице. (Прим. Д.П. Семёнова)

Летом играли в казаки и разбойники и другие игры. Те же игры, а отчасти чехарда, жгут и т. п. игрались в зале, особенно пансионерами и полупансионерами после обеда. В это время, т.е. от 4 ½ до 6 часов на двор выходили только весною, когда благодаря длинным дням бывало ещё светло. Все эти игры с одной стороны способствовали физическому развитию детей, а с другой укрепляли и товарищество. Правда, иногда эти игры отчасти переходили в бои между классами и раза два в течение моего восьмилетнего пребывания в школе мне приходилось принимать участие в кулачных сражениях, происходивших между двумя классами. Эти сражения, однако, никогда не кончались увечьем и не принимали слишком ожесточённого характера.

Переходя к воспоминаниям о моём двухлетнем пребывании к третьем классе, скажу, что состав учителей был, в общем, очень хороший, хотя между ними с одной стороны встречались и не вполне удачные, а с другой и некоторые, вообще хорошие и любимые преподаватели, давали повод к насмешкам со стороны учеников и были не лишены некоторых странностей.

Пусть дорогие для меня и до сих пор тени моих преподавателей, из которых большинства или очень многих уже нет на свете, простят мне те краткия характеристики, которые я постараюсь им дать. Пусть простят мне и те из них, кто ещё жив и, пожалуй, прочтёт о себе несколько строк в моих школьных воспоминаниях.

Самой интересной и выдающейся фигурой между преподавателями был, конечно, сам Карл Иванович. Мы, ученики его, по мальчишеству, конечно, и в этом прекрасном педагоге, по рождению и по душе, находили свои забавные и слабые стороны.

Его бритая физиономия, с бородою лишь снизу — под подбородком, очки и нюханье табака, которым он занимался, дали повод к карикатурам, к описаниям в стихах<sup>12</sup>. Несколько комичной нам казалась его привычка напевать себе под нос что-нибудь<sup>13</sup>, в особенности когда он останавливался перед висевшей в зале большою стенною таблицей с распределением уроков по всем классам. Таблица эта была подвижная, т.е. карточки разных цветов (для каждого класса свой цвет) и с надписью предмета преподавания могли выниматься и переставляться по клеткам, соответствующим дням недели и часам каждого дня. Мы, конечно, не могли ясно себе представить той трудной, сложной и скучной работы, которую он проделывал, иногда подолгу простаивая перед этой таблицей за перемещением некоторых уроков, причём он всегда что-нибудь напевал вполголоса и беспрестанно нюхал табак.

К окончанию классов, он становился на верхней площадке лестницы, так чтобы каждый уходящий ученик проходил мимо него, причём каждому он пожимал руку и лишь очень редко отказывал в такой рукопожатии тем мальчикам, которыми он был особенно недоволен. Это считалось одним из самых строгих наказаний и действовало обыкновенно очень хорошо, ибо наказанный напрягал все свои силы, чтобы заслужить опять право на обычное рукопожатие. При этой церемонии нюханье табака отзывалось также особым манером, заставляя К. И. иногда подавать не всю руку, а лишь несколько пальцев (когда остальные были запачканы табаком).

Во всех решительно классах К. И. сам преподавал географию, что ещё более сближало его со всеми учениками основанного им учебного заведения, давая возможность хорошо знать каждого лично. Уроки его были очень интересны, оживлённы и на них сказывалась особенно его любовь к детям и к молодому поколению. Преподавание географии он вёл по особому методу. В младших классах он начинал с того, что заставлял детей чертить и сам

---

<sup>12</sup> Одни стихи, написанные мною и Гамдорфом, в гекзаметрах, представляли как раз Карла Ивановича. (Прим. Д.П. Семёнова)

<sup>13</sup> Чаще всего Dessauer Marsch. (Прим. Д.П. Семёнова)

чертил план их класса. От плана комнаты переходили к плану школы, двора её, затем к плану Петербурга и наконец к географическим картам.

Вообще, К. И. заставлял много рисовать карты, причём ученики как копировали, так и рисовали их наизусть. Сам он прекрасно чертил карты наизусть: рисовал их на доске, заставляя их списывать, причём на таких картах помещалось всё, что нужно было запомнить, и ничего лишнего. Этим путём заучивание названий в значительной мере облегчалось и утрачивало свой характер сухости. Каждое название реки, залива, моря, страны и т. п. запоминалось вместе с очертанием на карте, а названия гор, городов, мысов и т.п. вместе с определенным местом их на соответственной карте. Рисую карты и опуская ненужные подробности, где можно, он всегда указывал на сходство тех или иных очертаний с какой-нибудь фигурой, буквой и т.п., что облегчало запоминание и самых очертаний. Так напр. <имер>, говоря о водоразделе западной Двины, Днепра и Волги и указывая на крупное значение этой местности в истории России и заселения её славянским племенем, он замечал, что верхние течения этих рек образуют собою как бы букву л. В памяти и воображении учеников названия как бы сливались с определёнными формами и очертаниями, а потому врезывались сильнее в память, т.е. легче запоминались и труднее забывались. Кроме того, преподавание географии у К. И. сопровождалось оживлёнными пояснениями, иногда длинными разговорами по близко соприкасающимся с преподаваемым предметом наукам, как то: по геологии, по физической географии, этнографии и т.п. Особенно часто, как мне запомнилось, он объяснял образование коралловых рифов. Сообщались при этом и всякие новые открытия в области географии, причём К. И. говорил о них с особым увлечением. Любовь, с которою К. И. разговаривал о географических новостях и новых открытиях, доходила до слабости, которую ученики, разумеется, подметили и стали иногда эксплуатировать в свою пользу. Мне, как сыну видного деятеля Географического Общества<sup>14</sup>, могущему часто раньше других узнавать о некоторых географических открытиях и новостях, приходилось играть некоторую роль в ученических хитростях. Когда заданный по географии урок был сравнительно труден или плохо приготовлен, вследствие чего ученики не надеялись хорошо ответить, то класс просил меня затеять какой-нибудь интересный для К. И. географический разговор. Я в таких случаях сообщал какую-нибудь известную мне географическую новинку, искусно завлекая К. И. в объяснения, и разговоров б. <ольшей> ч. <астью> хватало до конца урока, а ученики оставались не спрошенными до последней минуты.

Но не только о предметах, близко соприкасающихся с географией, разговаривал К. И. со своими учениками: в старших классах, начиная с пятого, иногда он разговаривал с ними и о различных вопросах, связанных с заведыванием училищем. Притом так просто и искренни были его речи, что и сами ученики разговаривали с ним о школьных и своих делах откровенно и просто, как дети с отцом или матерью. Обмануть его, ответить неправдой или даже недостаточно откровенно и искренно на поставленный им вопрос решались очень немногие. Поэтому он всегда отлично знал как общее настроение своих учеников, их умственный и нравственный уровень, так равно и индивидуальные особенности каждого в отдельности. Сообразно с этими индивидуальными особенностями каждого он применял по отношению к отдельным ученикам и способы воздействия не всегда одинаковые: в тождественных случаях иногда одного наказывал, а другого нет, ограничиваясь выговором или замечанием и т. п. Несмотря на это, однако, никогда никому из учеников его и в голову не приходило, что К. И.

---

<sup>14</sup> Отец мой, ныне вице-председатель Императорского географического общества, тогда был председателем отделения физической географии. Ныне и я состою в этом обществе председателем отделения статистики, которую я интересовался тоже ещё в школе, зная наизусть число жителей в большей части русских городов. (Прим. Д.П. Семёнова)

действует пристрастно или не совсем справедливо, чего нельзя сказать относительно всех других учителей. Так умелы были его действия по отношению к каждому отдельному ученику и так велика его искренность и светившееся во всем его существе расположение к каждому. Зная склонности и способности каждого, он в каждом поддерживал всякое похвальное и доброе стремление и смотрел иногда сквозь пальцы на увлечение ученика одним предметом подчас даже в ущерб другим. Совершенно справедливо он считал увлечение какими-либо занятиями и усердие к ним явлением, достойным поощрения и поддержки, глубоко веруя, что некоторые недочёты по каким-либо отдельным предметам, вследствие увлечения занятиями другими предметами, при дальнейшем развитии этой любви к занятиям и труду непременно пополнятся, а неосторожная задержка такого усердия может привести ученика к апатичному отношению уже не к одним, а ко всем предметам и к развитию в нём лени.

Примеры таких действий, сообразованных с индивидуальными особенностями каждого ученика, были весьма многочисленны, и некоторые из них были и будут указаны в настоящем очерке. Сделавшись одним из лучших его учеников по географии, я очень увлекался черчением карт и лепкой рельефных карт, употребляя на это иногда довольно много времени. К. И. меня к тому поощрял, и сделанные мною рельефные карты Франции и Альп были выставлены на каких-то педагогических выставках.

О преподавателе немецкого языка и латыни в средних классах Эмилии Отто несколько слов мною уже было сказано выше. Типичный немец из Пруссии, он являлся представителем порядка и дисциплины. Аккуратный и настойчивый, всегда серьёзный и ровный, никогда, кажется, не выходящий из себя, по крайней мере, в столкновениях с учениками, он являлся одним из главных помощников Карла Ивановича.

В некоторых случаях он как бы его пополнял. Когда необходима была по отношению к ученикам некоторая суровость и твёрдость, в случаях, когда сердечность Карла Ивановича была бы неуместна, выступал и действовал Отто. Вообще он был также образцовый педагог, умевший внушать к себе уважение и обладавший административными способностями, которые он потом блестяще проявил, организуя приходское немецкое училище Св. Екатерины. Однако при всём уважении, которое он к себе внушал, и при всём умении справиться с воспитанниками, мальчики иногда находили его не вполне беспристрастным, чего они никогда не могли сказать и не говорили про К.И. Мая. Зависело это от того, что при некоторой свойственной ему суровости и строгости он несколько мягче и любовнее относился к наиболее старательным и благонаправленным ученикам. Товарищам их это не нравилось, и таких учеников они называли его любимчиками, упрекая его между собой в некотором пристрастии.

Одним из таких любимчиков Отто считался мой товарищ, окончивший курс школы годом раньше меня, а именно в 1871-м году, Людвиг Глезер. В то время это был очень аккуратный и старательный, смирный мальчик, а потом юноша, первый ученик своего класса. В нём, впрочем, Отто вероятно видел способности и свойства будущего педагога, несколько сходные с его собственными. Впоследствии, вскоре по окончании курса на филологическом факультете С. Петербургского университета, Л. Глезер поступил преподавателем в училище св. Екатерины и там вслед за тем сделался инспектором и ближайшим помощником Отто, а через несколько лет после смерти его и директором.

Бесстрастность Отто, по-видимому, исчезала лишь тогда, когда дело касалось его родины, Прусского Королевства. Во время вечернего дежурства при приготовлении уроков пансионерами и полупансионерами, ему приходилось иногда спрашивать по желанию учеников приготовленные ими уроки, а иногда объяснять что-нибудь им непонятное. В 1866 г. после побед пруссаков над австрийцами ему в подобных случаях (география Австрии и Германии)

особенное удовольствие доставляло называть места, где были одержаны победы пруссаками и рассказывать попутно об этих победах.

Ещё больше заметно было его патриотическое настроение во время Франко-Германской войны 1870-го года. Увлекаясь и гордясь немецкими победами, он иногда вступал в горячие споры с французом Жонтом, на котором, естественно, всякое известие о победе немцев отражалось болезненно и который долго надеялся на победу Франции и не хотел допустить возможности окончательного торжества немцев. Беспощадные мальчишки иногда забавлялись этими спорами своих достойных преподавателей, унынием то того, то другого во время перипетий войны и долгой осады Парижа.

Жестокие дети иногда подтрунивали над святыми патриотическими чувствами двух людей, преданных их обучению и по существу весьма хороших и добрых. Надо отдать справедливость обоим преподавателям: живя в одном доме, обедая ежедневно за одним столом, они умели сохранить и во время войны между Францией и Германией как взаимное уважение, так равно и общую любовь к школе, с которой они сроднились и которой они посвятили свою жизнь и свой труд<sup>15</sup>. Случалось однако, что дня по два они друг с другом в это время не разговаривали.

Немалое значение как воспитатель имел и только что упомянутый преподаватель французского языка Жонт. Влияние его было особенно значительно на пансионеров и полупансионеров, во время игр которых после обеда он часто дежурил и в беседах с которыми он проводил по вечерам часы, посвящавшиеся разговорам на французском языке ради практики. Он был среднего, скорей высокого, чем маленького роста, брюнет с черной коротко остриженной бородой и с такими же усами. Частое общение с учениками во время разговорных уроков французского языка сближало его с ними, делало учеников довольно с ним откровенными, а ему доставляло также большое знакомство с их свойствами и характерами. Дежурия во дворе во время игры в снежки, он иногда сам несколько увлекался, давая, так сказать, стратегические и тактические советы одной из борющихся в снежки партии, причём бывали случаи, что снежки попадали и в него, что он охотно, впрочем, прощал. Помню, однажды, когда одна из бьющихся в снежки партий, руководимая мною, стала сильно теснить противника, которому грозило уже оказаться загнанным в один угол двора и затем потерпеть поражение, Жонт стал между ними и своими советами облегчил положение их, вырывая у моей партии уже почти одержанную победу. Тогда я метко пустил свой снежок прямо ему в шею так, что когда он разлетелся от сильного удара, то снег отчасти засыпался за шиворот нашего воспитателя. Сначала Жонт как будто несколько рассердился, но когда я ему возразил, что он сам принял участие в игре, давая советы и вмешиваясь в число моих противников, а потому не мудрено, что предназначавшиеся им удары снежков могли попасть и в него, он совершенно успокоился и лишь удалился из среды сражающихся в снежки. Вообще Жонт пользовался любовью воспитанников и имел на них достаточное и хорошее влияние.

Третьим воспитателем был в то время, т. е. когда я находился в третьем и четвёртом классах, преподаватель немецкого языка в самых младших классах Бем. Мне учиться у него пришлось лишь в течение полугода во втором классе, а в третьем немецкому языку я учился уже у Отто; поэтому о нём, как о преподавателе, я мало могу судить. Помню лишь смутно о производившемся в младших классах громком, так сказать хоровом, чтении всем классом. Толстенький, кругленький, с круглым, как луна, лицом, бритым и снабженным только одними усами, он, кажется, принадлежал к типу встречающихся нередко в Петербурге добродушных, не особенно далёких немцев. Как воспитатель, он большого влияния не имел, ибо не

---

<sup>15</sup> Жонт, кажется, так и скончался, оставаясь преподавателем и воспитателем в училище К.И. Мая. (Прим. Д.П. Семёнова)

пользовался никаким почти авторитетом у воспитанников старших классов, начиная с четвёртого, как это очень часто бывает в учебных заведениях с преподавателями младших классов. Отсутствию этого авторитета способствовало и то обстоятельство, что на его дежурствах во время вечернего приготовления уроков он, в противоположность Отто, всегда толково разъяснявшему ученикам что-нибудь им непонятное в приготовляемых уроках, весьма часто ничего объяснить не мог. Когда к нему обращались за разъяснениями ученики четвёртого класса и старше, он уже не мог им оказать никакой помощи своими разъяснениями, и по некоторым предметам они, оказывалось, знали даже как будто и больше, чем он. Отличительной особенностью его было довольно светлое одеяние его ног, серо-кофейного цвета, которое он носил бессменно в течение четырёх лет, что конечно не ускользнуло от внимания его учеников.

Эти-то три воспитателя с самим Карлом Ивановичем Маем и с двумя его сёстрами Анной и Эмилией Ивановной, а также со всеми пансионерами и полупансионерами составляли как бы одну большую семью. Все они, а именно обе сестры К. И., как хозяйки, означенные преподаватели и сам К. И. обедали вместе с учениками, сидевшими за двумя столами в низенькой столовой, в нижнем этаже занятого школою здания. За каждым из двух столов сидело по одной из сестёр Карла Ивановича, которые сами разливали суп как учителям, так и мальчикам. Учителя и сам Карл Иванович садились рядом с учениками поближе к хозяйке своего стола. Иногда обедали с нами и некоторые из других преподавателей и всего чаще преподаватель чистописания Мессер и один из наиболее видных сподвижников К. И., всеми детьми очень любимый диакон церкви в Академии художеств Владимир Петрович Постников. Владимир Петрович преподавал Закон Божий в младших классах и очень искусно повторял весь курс с учениками старшего класса к выпускному экзамену. За столом шли иногда общие разговоры и шутки, в которых принимали участие и преподаватели, и ученики. Сиделись все рядом, по прочтении предобеденной молитвы иногда по-русски, иногда по-немецки, кем-либо из учеников, вставляли также разом, причём читалась тем же порядком и послеобеденная молитва<sup>16</sup>. Кстати сказать, что перед началом ученья каждый день происходила общая молитва в зале. Ввиду преобладания протестантов читал её обыкновенно пастор, а затем все хором пели какой-нибудь хорал под аккомпанемент фисгармонии, за которую садился Отто.

Из преподавателей того времени, занимавшихся с нами в третьем классе, у меня сохранилось воспоминание о Еленеве, учителе русского языка в младших классах (в старших классах преподавал П.И. Рогов, о котором уже было упомянуто выше). Этот Еленев состоял лаборантом при химической лаборатории университета, где я с ним встретился впоследствии, будучи студентом. Им была составлена особая табличка, называвшаяся *самовар* и вмещавшая в себе почти все правила русской грамматики. Она заключала в себе, кажется, различные части речи, вписанные в квадратики и круги, из коих составлялся рисунок, напоминавший самовар. Таблица эта очень нравилась третьеклассникам; они спрашивали, кто её изобрёл, на что учитель неизменно отвечал, что её изобрела коза. Еленев, сколько мне помнится, был преподаватель не дурной, которого мальчишки любили. Хуже был его брат, заменивший его почему-то в течение полугода. Этот последний однажды, объясняя какие-то синтаксические правила, написал на доске сказуемое через *о*. Заметив это, я, как прославленный озорник, ему этого не спустил и спросил его, производит ли он *сказуемое* от *козы*.

В третьем же классе и отчасти уже во втором я познакомился с большим чудачком-преподавателем рисования Ульяновым.

Небольшого роста, коренастый блондин, он совершенно не умел справиться с мальчуганами, которым он преподавал рисование. Кажется, он был архитектор, надстроивший,

---

<sup>16</sup> Текст этих молитв, кажется, ничем не отличается у православных и у лютеран. (Прим. Д.П. Семёнова)

перестроивший и приспособивший здание школы. Вероятно, общение с рабочими сделало его несколько грубоватым. Преподавая с мальчиками-учениками, он беспрестанно употреблял такие выражения как «дурак», «болван» и т. п. Несмотря, однако, на его вспыльчивость и бранчивость, мальчики его не боялись и не очень слушались. На его уроках всегда пошаливали, забавляясь тем, чтобы вывести его из себя. К концу урока обыкновенно в классе оставалось менее половины, а большинство оказывалось выгнанным с урока. Как только один оказывался выгнанным за шалость, за ним следовал второй за то, что смеялся, третий за то, что тоже шалил и т. д. Все они выгонялись со словами: «И ты к шайке! ступай вон!» и вскоре зал заполнялся изгнанными, которые там прогуливались, шумели и мешали занятиям в других классах. Такое неумелое обращение с мальчуганами вынудило К. И. вскоре заместить Ульянова другим учителем рисования и с переходом моим в четвёртый класс я его больше не видал. Помню однажды на первом уроке после каникул Ульянов спросил, как зовут новичков. Один из них, сильно заикавшийся, Кутневич, стал произносить, заикаясь, свое имя, тотчас был выгнан, другой, тоже находившийся второй лишь день в школе, хотел объяснить в чем дело, но услышав грозное «и ты к шайке», должен был тоже покинуть класс. На уроках рисования одни, ушедшие далеко вперед, рисовали гипсовые орнаменты и головы, другие копировали рисунки, третьи чертили только круги и квадратики и т. п. Как имевший некоторые природные способности к рисованию, я очень скоро дошёл до гипсовых голов и дразнил Ульянова тем, что нарисую маленькую головку не на середине листа, а в углу его. Когда он выбранится и скажет, что голова хороша, но мала, я во весь лист рисовал один рот или нос гипсового бога или богини и уверял, что исполнил его желание, нарисовал крупнее, но, к сожалению, не уместил всего лица на листе бумаги.

Этим и ограничиваются мои воспоминания о третьем классе, если не считать ещё посещения окружного инспектора Максимовича. Некрасивый, худощавый и высокий, старик этот, фигурой напоминавший Дон Кихота, был в сущности очень добрый человек. Он, кажется, любил декламацию стихов, ибо как на русском, так равно и на французском уроках, стоило ему войти в класс, как тотчас вызывался кто-нибудь из знающих хорошо стихи учеников, чтобы декламировать. Чаще всего это доставалось на мою долю. На французских уроках большею частью я декламировал стихи Беранже:

On parlera de sa gloire, sous le chaume bien longtemps.

L'humble toit dans cinquante ans ne connaîtra pas d'autre histoire<sup>17</sup>.

и т.д. На русских уроках декламировал «Шильонский узник» Жуковского. Максимович слушал; иногда у него показывались слёзы, а иногда он поправлял и, сильно шамкая своим старческим ртом, сам начинал показывать, как нужно с чувством произносить стихи. Эту шамкающую декламацию мы, разумеется, передразнивали потом в течение нескольких дней.

### III

В четвёртом классе мне пришлось познакомиться и с новыми предметами, и со многими новыми учителями. В этом классе предстояло перейти к изучению алгебры, начать заниматься геометрией, и желающие могли начать изучение греческого языка, который тогда не был безусловно обязателен и для классиков.

Алгебру или, лучше сказать, особый курс теоретической арифметики преподавал в четвёртом классе один из друзей Карла Ивановича, очень хороший, кажется, человек и недурной педагог, но вместе с тем большой оригинал, если не сказать чудака — Шнейдер. Начинать он свой курс алгебры с особого курса арифметики, им самим составленного и изложен-

<sup>17</sup> И долго под сенью соломы говорить будут о славе его, Полвека ещё не узнает та скромная крыша истории новой. (Перевод авт.)

ного в особом учебнике, озаглавленном «арифметика, изложенная по генетическому методу». В учебнике этом излагалась вся арифметика, начиная с четырёх основных правил, но изложенная особым манером и особо объяснённая.

Начиналось даже с того, как люди начали считать и обозначать условными знаками-числами то, что они считали. Затем объяснялись римские цифры, обозначение которых основывалось на изображении палочек-пальцев и всей руки V, или двух рук X, затем уже излагались преимущества принятых всеми цивилизованными народами арабских цифр и т.д.

Каждое действие и арифметическое правило выводилось и доказывалось подобно тому, как выводятся и доказываются теоремы в алгебре и геометрии. Объяснялось, что умножение есть повторное сложение, а деление повторное вычитание. Надо отдать справедливость этому педагогическому приёму. Дети на хорошо им знакомом, уже заученном ранее приучались к тому математическому пониманию и способу доказательств, который им приходится применять далее, при прохождении алгебры, что несомненно должно было облегчить понимание и усвоение дальнейшего.

Шнейдер был очень высокий и худощавый блондин, делавший огромные и быстрые шаги и при разговоре всегда очень сильно жестикулировавший. На уроках он был очень строг и требователен, но математически справедлив.

Каждый верный ответ отмечался в его карманной книжке крестом, а неверный — ноликом. За каждые пять ответов ставился балл, соответствующий числу крестиков. Ноли и единицы бывали нередки. Получивших ноль или единицу он заставлял переписать от 25 до 40 раз не выученный урок. «Willst du etwas Dwornik studieren<sup>18</sup>», — говорил он ленивым, не приготовившим урок.

Во время прохождения своеобразного курса арифметики Шнейдера один из моих товарищей по четвёртому классу, сын одного очень богатого коммерсанта Артур Бран<д><sup>19</sup> заболел какою-то из детских болезней и пропустил около месяца. Ему предстояло нагнать своих товарищей, что казалось особенно затруднительным именно у Шнейдера, своеобразный курс которого мог передать только он или кто-либо из его учеников. Родители Бран<д>та обратились за советом к К. И., а он, сговорившись со Шнейдером, рекомендовал меня, как репетитора по математике. С товарища и одноклассника брать за даваемый ему урок гонорар мне казалось неудобным, а потому я давал ему в течение двух месяцев уроки математики на дому даром, получив затем от его родителей в подарок хорошенький портфель. С этого времени к моей репутации первого шалуна в школе прибавилась репутация и первого математика.

Время от времени в качестве преподавателей древних языков и воспитателей выписывались немецкие молодые филологи, которые затем водворялись в школе, т. е. поселялись в самом школьном здании.

В течение моего пребывания в школе таких выписанных немецких филологов перебывало три: Врубель, Уртель и Мальхин. В качестве преподавателя и воспитателя наименее удачным оказался первый, а наиболее удачным второй, именно Уртель, о котором сохранились как у меня, так и у моих товарищей самые лучшие воспоминания.

Первым в хронологическом порядке явился наименее удачный, как педагог, хотя может быть и весьма хороший учёный Врубель. Приезд его совпал как раз с моим переходом в четвёртый класс и благодаря именно ему моя попытка изучать греческий язык оказалась неудачной, в связи с тем, что вообще языки мне давались труднее, чем предметы математические и естественные науки, а также с тем, что я был самый большой шалун и озорник своего

<sup>18</sup> Ты что, хочешь выучиться на дворника? (Прим. авт.)

<sup>19</sup> В школе с 1862 по 1872 гг. (Прим. Д.П. Семёнова)

времени в школе. Врубель был очень оригинален не только по некоторым своим привычкам и манерам, но даже и по своей внешности. Небольшого роста, очень сухопарый брюнет, с огромным горбатым носом, с курчавыми, торчащими хохлом вперед и вверх волосами, он представлял собою фигуру довольно комичную и карикатурную, что несомненно уже настраивало его учеников к некоторой насмешливости и шаловливости. Притом совершенное неуменье справиться с мальчуганами, не смотря на некоторую вспыльчивость, при природной доброте, делали его совершенно непригодным к педагогической деятельности в школе. Комизм его фигуры, с бритым и снабжённым лишь усами лицом, усугублялся неизменным фраком, с которым он не расставался и на спине и фалдах которого шаловливые воспитанники беспрестанно ухитрялись нарисовать что-нибудь мелом, не будучи им замечены и пойманы на месте преступления. Манера его говорить также была комична: на каждом слове всякого своего разговора он вставлял слова «ja freilich» (да, конечно), пересыпая этими словами даже коверканную русскую речь, на которой он через несколько месяцев после своего приезда изъяснялся с прислугой. В свободное время, когда он дежурил во время игр пансионеров и полупансионеров, шум и гам были всегда невероятны, а маленький рост его соблазнял старших, более сильных и рослых воспитанников к тому, чтобы играя в чехарду, перескакивать и через воспитателя, а иногда, схватив его в охапку, перенести его из одного конца зала в другой.

Встреченный при приезде на станции железной дороги одним из пансионеров старших классов<sup>20</sup> в качестве переводчика и школьным лакеем Власом, имевшим бритую физиономию и отличавшимся небольшим ростом, он принял первого за коллегу-преподавателя, а второго за одного из воспитанников старших классов.

Соответственно такому своему предположению, он на немецком языке обратился к тому и другому с подобающими длинными и глубокомысленными приветствиями, на что лакей весьма резонно ответил ему: «Их динер»<sup>21</sup>.

Хотя греческий язык и был в то время необязателен, а языки вообще мне не очень-то давались, причём орфография и грамматика, у меня страдали даже и в русском языке, не говоря об иностранных, я всё-таки изъявил желание обучаться и греческому языку.

Так как на уроках греческого языка бывало немного воспитанников, причём остальные товарищи занимались в это время каким-либо иным предметом, то нам приходилось уходить в отдельные небольшие классные комнаты и сидеть иногда за одним общим столом с учителем. Этот стол был необыкновенно хорошо приспособлен для шалости.

В середине его было проверчено несколько круглых отверстий, в которые были вставлены оловянные чернильницы, как нарочно приспособленные для школьных проделок. Устремив взор прямо на учителя, придав своему лицу самое невинное выражение внимательного и прилежного ученика, ничего не стоило, вытянув ногу, толкать носком своего сапога одну из чернильниц, которая и начинала плясать и подпрыгивать, по-видимому без всякой причины. Врубель тщательно старался узнать, отчего это происходит; наклонялся к чернильнице, заглядывал под стол, но никак не мог найти виновного, к великой потехе всего класса — так ловко я изошрялся в этой шалости. Случалось даже, что чернильница подпрыгивала в то время, когда наклонялся над нею Врубель, и его огромный нос оказывался выпачканным чернилами. При таких условиях понятно, что в конце концов я больше занимался шалостями, чем греческим языком, и к концу года по этому предмету никак не мог быть переведён в следующий класс. Карл Иванович и тут обнаружил необыкновенное внимание: он перевёл меня в пятый класс с тем, чтобы по греческому языку я занимался с пятым и с четвёртым классом

<sup>20</sup> Ганс Шмидт. (Прим. Д.П. Семёнова)

<sup>21</sup> Я слуга (искаж. нем.). (Прим. авт.)

одновременно; разумеется, это я выдержал только в течение трёх месяцев, а затем совсем отказался от греческого языка, оставшись при одной латыни, что тогда было возможно.

Говоря о четвёртом классе, не могу не вспомнить ещё о преподавателе естественных наук (зоологии, ботаники и химии) Вильямсе, который умел заинтересовать своих учеников, но не всегда умел прекратить их шалости и шум. Он был очень добр, хотя по временам и вспыльчив, причём, случалось, что выведенный из себя он говорил: «Я вас припычу», выражение оригинальное и неправильное, вызывавшее насмешки мальчуганов. В общем, однако, дети очень его любили, а преподаваемыми им предметами он умел заинтересовать. Помню и до сих пор довольно подробный курс споровых растений, который за ним записывался и затем изучался. Он был изложен очень интересно и живо в виде описаний наиболее типичных со способами их размножения. Кажется, в то время это была именно область новых исследований и открытий, а потому и особенно интересная<sup>22</sup>.

По русской истории мне приходилось учиться у преподавателя Незеленова, сделавшего впоследствии профессором. У него я учился недолго; он, будучи очень знающим, не умел заниматься с детьми, вследствие чего о нём у меня не сохранилось особенно ярких воспоминаний.

В этом же четвёртом классе мне впервые пришлось услышать тогда вновь поступившего преподавателя истории Штрукке, сделавшегося впоследствии одним из любимцев своих слушателей учеников, главным образом благодаря своему уменью картинно и интересно рассказывать, так что его можно было заслушаться. Будучи довольно высокого роста и имея представительную наружность, он говорил густым басом, по временам отхаркиваясь. Самый рассказ его был необыкновенно живой и увлекательный. Яркими и чудными картинами с рельефно вырисованными фигурами исторических личностей проходили перед нами события всемирной истории. Ведя свой, положительно талантливый и увлекательный рассказ, он обыкновенно прохаживался по классу, резко жестикулируя правой рукой, непременно с зажатым между пальцами этой руки карандашом. Этот зажатый между пальцами карандаш являлся для него какою-то магическою палочкой, без которой, как будто, рассказ его не мог идти плавно и не мог делаться достаточно увлекательным. Входя в класс, он раньше всего спрашивал, чтобы ему дали карандаш и, не имея его в руках, никогда не начинал даже спрашивать учеников, а не только рассказывать сам. Мальчишечья привычка всё подмечать и из всего сделать предмет, если не насмешки, то несколько насмешливой шутки, побудил наш класс и тут выкинуть штуку. Однажды, когда Штрукке вошёл в класс и по обычаю спросил карандаш, ему подали такой коротенький, что он никак не мог поместить его между пальцев, для чего длина карандаша должна была по крайней мере вдвое превышать толщину среднего пальца.

Он рассердился, швырнул его на пол и попросил больший, тогда ему подали нарочно для сего купленный карандаш длиною в полсажени, при общем смехе всего класса. Он рассердился ещё больше, но никого не наказал, а лишь сломал карандаш пополам, зажал половину его между пальцев и затем стал рассказывать не менее увлекательно, чем всегда.

В том же четвёртом классе мы перешли по русскому языку к П.И. Рогову, о котором мною было уже говорено в самом начале. Рогов преподавал русскую литературу, а Штрукке в старших классах VI и VII — немецкую. Оба они отличались способностью прекрасно говорить, и оба старались ознакомить с возможно большим количеством произведений той и другой литературы, путем непосредственного чтения лучших произведений их в классе.

---

<sup>22</sup> Это была лучшая пора деятельности известного исследователя споровых растений Воронина. (Прим. Д.П. Семёнова). Воронин Михаил Степанович (1838–1903) — академик Петербургской Академии наук (1898), биолог, миколог. (Прим. авт.)

Таким образом, как умение их преподавать, заинтересовывать и рассказывать, так равно и влияние их на развитие учеников представлялись во многом сходными и параллельными: можно сказать, что тем, чем был для меня и товарищей моих Рогов по русской литературе, тем для нас был Штрукне по литературе немецкой. Оба они подчёркивали и выдвигали на первый план движение и развитие человеческой мысли. Рогов как бы являлся отчасти истолкователем наиболее высоких стремлений в русских писателях, Штрукне — в немецких. Чтобы составить себе более ясное понятие о характере преподавания этих двух учителей, надо припомнить, что это были шестидесятые годы, когда только что совершилось освобождение крестьян, в котором отец мой был одним из видных деятелей, вследствие чего я и в русской литературе, благодаря Рогову, находил те же мысли, которые я слышал и дома.

#### IV

В пятом классе я опять провёл вместо одного два года. Главной тому причиной была, разумеется, моя шаловливость, не дававшая мне возможности достаточно усердно заниматься, особенно языками, и те затруднения, которые я испытывал, стараясь в один год справиться с двухлетним курсом греческого языка; кроме того, я опять довольно много хворал и пропускал уроков. Непосредственно я оказывал плохие успехи преимущественно в латыни, из-за которой я был оставлен на второй год в пятом классе, так как по математике и географии я, начиная с четвертого класса, уже менее пяти за успехи не получал.

В течение двухлетнего пребывания моего в пятом классе мне пришлось познакомиться с некоторыми новыми учителями математики, физики и латинского языка. По геометрии я сразу попал к преподавателю этого предмета Миттеляхеру, учителю очень недурному, хорошо знавшему свой предмет и хорошо его объяснявшему, но не всегда умевшему прекратить шалости и обнаружившему ко мне, лучшему математику, но и первому шалуну, большую снисходительность. По геометрии, как бы шаловлив и невнимателен я ни был, будучи вызван к доске, даже совершенно неожиданно, я всегда отвечал вполне удовлетворительно. Дело доходило до того, что я шалил, шумел, ничего не слушал, а будучи вызван становился на руки и подходил к доске вверх ногами.

«Ты сошел с ума!» — говаривал мне Миттеляхер. «Нет!» — отвечал я, — сумасшедший едва ли правильно ответит на все Ваши вопросы по геометрии, а я отвечу», и действительно отвечал на все безукоризненно.

Однажды он поставил мне, кажется, в шестом уже классе, такую отметку, которая осталась, как школьное предание, передаваясь из уст в уста в памяти учителей и учеников очень долго, чуть ли не по сие время. Он поставил мне в четвертных отметках из геометрии единицу за прилежание и пять за успехи. Такая оценка моих познаний и моего прилежания, очень лестная для моих способностей, вызвала однако с моей стороны возражения: «Если я знаю отлично, по Вашей же оценке, хотя бы и ничего не делая, то зачем же мне делать больше, всё равно я лучше, чем отлично, знать не буду». Этот довод, однако, его не убедил и замечательное засвидетельствование того, что ученик оказывает блестящие успехи, ровно ничего не делая, осталось как в классных журналах школы, так и на выданном мне свидетельстве за четверть года. По геометрии, а позднее и по космографии, мне пришлось заниматься у Миттеляхера до окончания курса гимназии.

Гораздо большее число учителей мне пришлось переменить по физике. Начал я обучаться этому предмету у довольно симпатичного и хорошего преподавателя Гейденшильда. Этот высокий, красивый блондин, однако, вскоре заболел скарлатиной и в цветущем, 35-летнем возрасте, от неё скончался. Похороны этого преподавателя сильно врезались в моей памяти со всей их обстановкой: с проводами несколькими классами почти в полном составе, с

речью пастора, говорившего всё время о той ужасной потере, которую понесла мать скончавшегося, лишившись последней опоры, единственного сына; со слезами, всхлипываниями и криком этой несчастной матери, при таких словах пастора, ещё больше растравлявших её горе, вместо того, чтобы дать ей утешение.

Его сменил человек, с именем ныне прославленного в китайскую и японскую войну генерала<sup>23</sup>, но далеко не удачный преподаватель, об удалении которого пришлось хлопотать самим ученикам и преимущественно мне и моему классу. Это был необыкновенно худой и необыкновенно высокий, говоривший пищащим сопрано, Ренненкампф. Лицо его своей формой напоминало гитару, в виде этого инструмента мы и изображали его на карикатурах. Быть может, он был очень хорошим и дельным акцизным чиновником (таковым он служил), хорошо знакомым, вероятно, с спиртомерами и акцизными правилами, но он совершенно уже отстал от науки, и взявшись за преподавание не имел, вероятно, ни времени, ни охоты заглянуть хотя бы в учебники и сколько-нибудь повторить то, что ему предстояло объяснять воспитанникам. Пока он в пятом классе преподавал нам физику, дело ещё кое-как сходило с рук. Рассказывать он больше любил анекдоты, пояснял мало, но тем не менее физика с грехом пополам проходила: всё-таки кое-когда он ещё что-нибудь объяснит, и всё-таки спросит учеников, задав им что-нибудь по учебнику Малинина и Буренина. Когда же ему пришлось заменить в шестом классе выбывшего учителя алгебры, кажется, очень хорошего и дельного — Кизерицкого, то дело пошло уже совсем плохо. Спросив, что мы проходили и какие решали задачи, он ограничился тем, что задал к следующему уроку пять задач по задачнику и затем стал просто болтать с классом о всякой всячине. На следующем уроке он проверил решённые задачи у двух или трёх воспитанников и убедившись, что у остальных вышло то же самое, задал опять пять следующих номеров по задачнику, а затем стал опять разговаривать о посторонних вещах. Он рассказывал о своей службе по акцизу в Твери, о том, что во время польского восстания 63-го года в Варшаве перед его окнами был повешен еврей и т.п., никакого отношения к алгебре не имеющее. Постепенно задачи в числе пяти к каждому уроку стали проверяться всё меньше и меньше и, наконец, дело дошло до того, что вся проверка ограничивалась вопросом: «Сделали задачи?» и по получении устного ответа, что сделали, и что они всеми решены верно, задавались следующие пять номеров по задачнику и опять начинались разговоры. Тетради уже больше не показывались никем и задачи просто никем и не решались, а только говорилось, что они всеми решены верно. Так продолжалось довольно долго; ученики ничего не делали и учитель также. Однако, когда пришлось выставлять отметки за четверть года, Ренненкампф не имел решительно никаких данных для суждения о познаниях своих учеников. Взяв список, он смело поставил первым трём ученикам по пяти, как лучшим, и обнаружил уже желание четвертому поставить четыре и так сбавлять последующим. Однако класс хором запротестовал, ибо четвёртым оказался один из лучших математиков; запротестовали и на пятом, шестом и т. д. Кончилось тем, что всему классу за алгебру пришлось поставить по пяти, к великому удивлению как Карла Ивановича, так и других преподавателей, что конечно должно было уже навести на сомнения как случай никогда не бывающий. Скоро и сам класс стал, подумывая о будущем, сомневаться в целесообразности такого порядка, при котором можно было ровно ничего не делать целому классу и получать по пяти.

Однажды, когда случайно заданные задачи оказались довольно трудными, мы решили их, причём у многих они оказались действительно решёнными правильно. Решение это однако мы скрыли от учителя, объявив, что самую трудную из пяти задач никто правильно решить не мог, а потому мы просим господина Ренненкампфа её решить и нам объяснить. Решая задачу на доске, он спутался сам и привел её к правильному решению, т.е. верному окон-

---

<sup>23</sup> По-видимому, имеется в виду Павел Карлович Ренненкампф (1854–1918), генерал от кавалерии.

чательному результату (самоё решение было совершенно неправильно), путем сделанных, якобы незаметно, неправильных сокращений, нечаянных стираний рукавом таких букв, которые должны были исчезнуть и т. п. По окончании урока всем классом было предъявлено К.И. Маю как правильное решение задачи, так и тщательно записанное за учителем решение её, им произведённое, а затем разъяснена система его преподавания, состоявшая из одного задавания задач. Разумеется, после того мы его больше не видали<sup>24</sup>.

Преподавание физики перешло к очень хорошему учителю Филипенко, которого за короткое время ученики успели очень полюбить и оценить, но к сожалению у него пришлось учиться только полтора года, а в последнем, восьмом (ober septima) классе его сменил Стрекалов, который тоже ничего не объяснял, а лишь задавал по учебнику, в котором вычеркивал то, что в курс не входило, а иногда вычеркивал и лишнее, т.е. такое, что надо бы было выучить и знать.

Во время моего пребывания в пятом классе, на место мало удачного Врубеля, появился лучший из всех преподавателей древних языков, с которыми мне приходилось учиться, Уртель. Это был выписанный из-за границы молодой, но чрезвычайно знающий и способный филолог. Приехав в Россию, он очень скоро изучил русский язык и стал интересоваться русской литературой, с которой настолько ознакомился, что на уроках латыни, при оживлённых своих объяснениях и толкованиях, ссылался иногда на русских писателей и особенно на Пушкина, которого он особенно высоко ставил и ценил. Помню, как по поводу глубокомысленных толкований своих учёных соотечественников, относящихся к какому-то странному и трудно понятному стиху одного из римских поэтов (кажется, Горация), он сослался на Пушкина. «Любопытно, сказал он, что способны будут написать подобные комментаторы по поводу следующего места из Евгения Онегина:

И вот уже трещат морозы  
И серебрятся средь полей...  
Читатель ждет здесь рифмы розы?  
Так на ж! Бери её скорей!

Уртель умел сделать из своих уроков, из чтения произведений классиков, даже из латинской грамматики, интересный предмет. Всё он пояснял, разъяснял, переносил нас в древний мир с его особою жизнью и понятиями. Иногда он читал нам целые главы из Момзена<sup>25</sup> и таким образом знакомил нас с бытом и обстановкой древних. Не скучными и сухими, а живыми и понятными, становились, благодаря его объяснениям, и стихи Горация, и Вергилия, и речи Цицерона и прочее. Если я, будучи почти всегда самым плохим учеником по латыни, всё-таки научился этому языку, стал писать на нём сочинения иногда даже недурные и даже закончил блестящим баллом из этого языка на выпускном экзамене, то этим я всего более считаю себя обязанным Уртелю. Этот выдающийся и прямо талантливый педагог оставил нас весною 1871 года и получил сразу очень завидное назначение. По присоединении Эльзаса к Германии, он был назначен директором Страсбургской гимназии, куда и поехал прямо от нас, к большому нашему огорчению. Назначение это доказывает, что его высоко ценили и в Германии, где во вновь присоединённую область старались назначать лучших во

<sup>24</sup> До этого мы несколько раз перед приходом в класс Ренненкампа писали на доске: «Consilium abeunidi tibi datus», но он на это внимания не обращал, а может быть не замечал или не понимал — не знаю. (Прим. Д.П. Семёнова.) Тебе, подходящему (за советом) мы даём совет. (Прим. авт.)

<sup>25</sup> Момзен, знаменитый немецкий учёный, исследователь быта древних, с трудами которого, едва ли кроме меня и моих товарищей, кто-либо познакомился ещё в гимназии. (Прим. Д.П. Семёнова.) Моммзен (Момзен) Теодор (1817–1903), немецкий историк, почётный член С.-Петербургской АН (1893). (Прим. авт.)

всей Германии профессоров и лучших педагогов. Мои товарищи и я, мы можем считать себя счастливыми, что были учениками такого выдающегося педагога и участвовали вместе с ним в постановке в нашей школе латинской пьесы, о чём мною подробно будет рассказано далее. Уртель был учителем и вместе с тем воспитателем. Само собой разумеется, что его очень любили и уважали, хотя его фигура и в особенности лицо, круглое, с большими усами и в очках, издали несколько напоминавшее кота, изображалось нами в виде карикатур.

Мне пришлось проучиться у Уртеля в течение трёх или четырёх лет, т. е. всего времени пребывания его в Петербурге, и лишь последний год заниматься у сменившего его, также выписанного из Германии, Мальхина. Мальхин был очень недурной преподаватель древних языков, весьма сведущий, которого, кажется, дальнейшие поколения очень полюбили. Что касается меня и моих товарищей, то, конечно, нам он не мог так нравиться, как Уртель. Нам не могли не броситься сразу в глаза его меньшая, сравнительно с его предшественником, разносторонность и некоторая узость и странность его взглядов. Рыжий и несколько вспылчивый, но по существу своему, всё-таки доброжелательный и любивший своих учеников, Мальхин не умел расположить их к себе столь же сильно и скоро, как его, прямо, талантливый предшественник.

Мальхин, кроме латыни и греческого, стал преподавать ещё и немецкую литературу. Он оказался большим поклонником древнегерманского эпоса и вообще средневековой германской литературы. Высшим и гениальнейшим произведением он считал Нибелунги<sup>26</sup> и Парсиваль и очень насмешил весь мой класс, а это был старший, на первом уроке немецкой литературы. Начал он этот урок с того, что с пафосом воскликнул: «Nur Bosheit oder Unwissenheit kann das den deutschen Literatur absprechen dass sie die beste ist!..» (Только злоба или незнание могут отрицать, что немецкая литература лучшая!). Затем, после паузы, изумленные таким крайним немецким патриотизмом слушатели были ещё более поражены доказательством этого утверждения: Англичане имеют Шекспира, а мы, немцы, Вольфрама фон Эшенбах! Французы — Корнеля<sup>27</sup> и Расина<sup>28</sup>, а мы — Вольфрама фон Эшенбах! Испанцы — Сервантеса<sup>29</sup>, а мы — Вольфрама фон Эшенбах! Итальянцы — Данте<sup>30</sup>, а мы — Вольфрама фон Эшенбах! Греки — Гомера<sup>31</sup>, а мы — Вольфрама фон Эшенбах! Наконец, русские имеют Гоголя, а мы — Вольфрама фон Эшенбах! Вот какую новость узнали мы на первом уроке Мальхина по немецкой литературе. Раньше того, с любимым нами Штрукке, мы читали и очень хорошо ознакомились с лучшими произведениями новой литературы. Читали Лессинга<sup>32</sup>, восторгались Гёте<sup>33</sup> и Шиллером<sup>34</sup>, и вдруг оказалось, что не их, этих двух лучших и более нам понятных представителей немецкой литературы, противопоставляют крупнейшим деятелям в других европейских литературах, а мало нам знакомого и понятного Вольфрама фон Эшенбаха. Мало того, из русской литературы выхватывают для сравнения с ним не Слово о полку Игореве, что было бы удобоваримее, а автора «Мёртвых душ» и «Ревизора». Конечно, нам такие воззрения показались странными. Ещё страннее показался нам Мальхин тогда,

---

<sup>26</sup> Нибелунги — мифические обладатели золотого клада, борьба за обладание которым является сюжетом германского эпоса. (Прим. авт.)

<sup>27</sup> Корнель Пьер (1606–1684) — французский драматург. (Прим. авт.)

<sup>28</sup> Расин Жан (1639–1699) — французский драматург, поэт. (Прим. авт.)

<sup>29</sup> Сервантес Сааведр Мигель де (1547–1616) — испанский писатель. (Прим. авт.)

<sup>30</sup> Данте Алигьери (1265–1321) — итальянский поэт. (Прим. авт.)

<sup>31</sup> Гомер — древнегреческий эпический поэт. (Прим. авт.)

<sup>32</sup> Лессинг Готхольд Эфраим (1729–1881) — немецкий драматург. (Прим. авт.)

<sup>33</sup> Гёте Иоганн Вольфганг (1759–1865) — немецкий писатель, поэт, иностранный почётный член Петербургской Академии наук. (Прим. авт.)

<sup>34</sup> Шиллер Иоганн Фридрих (1759–1805) — немецкий поэт, драматург. (Прим. авт.)

когда один из моих товарищей (Романовский) и я навели на разговор о Дарвине<sup>35</sup>, теорию которого мы стали ему доказывать. Мальхин её не признавал. Будучи отличным филологом, он, оказалось, ничего не знал в науках естественных, вследствие чего в споре о теории Дарвина очень скоро оказался совершенно разбит гимназистами, немного лишь занимавшимися естественными науками у добрейшего Вильямса. Не будучи в состоянии выдержать спора, он под конец заявил: «Наконец! Если бы это было так, то Аристотель<sup>36</sup> сказал бы что-нибудь об этом!» Мы вспомнили опять нашего талантливого преподавателя истории Штрукке, так хорошо рассказывавшего, как схоластики средних веков во всех спорах ссылались на Аристотеля, и Мальхин получил у нас прозвище схоластика. Что касается латыни, то он преподавал её хорошо. Мы писали ему так же, как и его предшественнику, Уртелю, сочинения на латинском языке и разговаривали с учителем в классе также на языке древних римлян, на котором он нам излагал правила стихосложения и на котором мы должны были отвечать. Помню, что уже через много лет по окончании мною курса, на одном из годовых обедов, на которых сидели бывшие воспитанники и преподаватели нашего учебного заведения, я встретил Мальхина, и его присутствие повлияло на меня так, что за многочисленными тостами и речами, я сказал ему приветствие на чистом латинском языке, и кажется, без ошибок, к его великому удовольствию.

Кроме преподавателей главных предметов, мне остаётся ещё упомянуть несколько интересных преподавателей, игравших уже меньшую роль в жизни нашей школы, но тем не менее оставивших по себе достаточно яркий след в моей памяти, чтобы дополнить их образами ряд моих наставников и руководителей в средней школе.

По закону Божию православным воспитанникам младших классов преподавал симпатичный и добрый, но достаточно требовательный и умелый диакон церкви при Академии художеств Владимир Петрович Постников<sup>37</sup>. Он повторял весь курс со старшими учениками к выпускному экзамену. Их он в шутку называл всегда женихами. Его все очень любили, и он проработал преподавателем школы с самого её основания по день своей кончины, в течение почти сорока лет. В третьем классе нам преподавал закон Божий сам знаменитый проповедник о. Василий Полисадов, сын которого Иона в течение одного года был моим товарищем по классу.

Полисадова сменил Флоров, учёный протоиерей, интересовавшийся историей раскола и читавший нам, в то время воспитанникам пятого класса, подлинные послания, в которых раскольники препирались и переругивались, как между собою (различные толки), так и с православными. Его сменил достойнейший протоиерей о. Вениамин Тихомиров, бывший священником в сенатской церкви, а затем в Исаакиевском соборе. Этот преподаватель был нами очень любим, и остался моим духовником по окончании мною школы почти до своей кончины. Преподавание его, однако, началось с некоторого небольшого недоразумения, сильно его сконфузившего на первых порах. По своему горбатому носу и курчавым волосам я наружностью мог сойти за любого восточного инородца или еврея, которых я, кстати, умел недурно представлять, по этой причине меня иногда поддразнивали, называя жидом.

Однажды отец Вениамин на первом же или на втором своём уроке при самом входе в класс застал моих товарищей за этим невинным занятием, т.е. дразнением меня и называнием меня жидом. Отец Вениамин заметил это и тотчас же сказал несколько тёплых и прочувствованных слов на ту тему, что христиане должны братски любить друг друга и особенно

<sup>35</sup> Дарвин Чарльз Роберт (1809–1882) — английский естествоиспытатель, иностранный член-корреспондент Петербургской Академии наук. (Прим. авт.)

<sup>36</sup> Аристотель (384–322 до н.э.) — древнегреческий философ. (Прим. авт.)

<sup>37</sup> Состоял преподавателем в школе К.И. Мая со дня основания её (1856 г.) по день своей смерти (28 января 1895 г.). (Прим. Д.П. Семёнова)

тепло, по-братски встречать всякого вновь вступившего в их среду и принявшего христианство. Весь класс, хотя и дразнивший меня жидом, но отлично знавший, что я чисто русский и не только никогда евреем не был, но и не имел их в числе своих предков, дружно рассмеялся и разъяснил учителю его ошибку, которая, пожалуй, могла бы меня обидеть ещё больше, чем поддразнивание товарищей.

Как я сказал уже, в школе К.И. Мая можно было заниматься и английским языком, и им занималось действительно довольно значительное количество воспитанников. Я старался возобновить в памяти этот язык, столь хорошо мне знакомый в моём детстве, благодаря гувернантке англичанке, а затем довольно основательно забытый в период времени с 7-летнего возраста до 12-летнего. Понимал я по-английски действительно больше моих товарищей, свободно читал и чуть-чуть говорил на этом языке, но английская орфография мне совершенно не давалась; на одной странице я делал до 25 ошибок, наравне с моими товарищами, едва лишь начавшими обучаться языку Шекспира. Кстати: с четвёртого класса мы попали к прекрасному человеку и большому поклоннику этого гениального писателя, преподавателю английского языка Гису (Heath). Мы тогда и не предполагали, что мы имеем честь состоять учениками будущего помощника воспитателя ныне благополучно царствующего Государя Императора<sup>38</sup>. Гиса ученики любили и он, кажется, очень любил детей и молодежь. У меня и теперь сохранился его портрет, который мне удалось нарисовать пером во время его урока. Должен однако сознаться, что он для нас, ещё слишком мало знакомых с английским языком, быть может благодаря малому уменью его предшественника господина Темпеля, преподававшего нам в третьем классе, не вполне подходил. Он читал с нами Шекспира, для чего мы не были достаточно подготовлены. Убедившись в этом, он в несколько уроков старался нас подготовить, повторив кое-что из самого языка и грамматики, а затем опять принимался за Шекспира, которого мы в конце концов всё-таки знали больше по русским переводам и тем сочинениям о нём и его произведениях, которые мы писали П.И. Рогову, чем по чтению его в подлиннике на уроках английского языка. Что же касается английской грамматики и орфографии, то она продолжала у нас хромать. Гис вообще очень увлекался и перескакивал с одного на другое. Заметив, что один из моих товарищей, Романовский, страдая каким-то органическим недостатком, не может выговорить буквы *к*, он несколько уроков провозился с ним, стараясь исправить этот недостаток, путем постепенного перехода от произношения буквы *х* к недавшемуся *к*.

По рисованию после Ульянова мы попали к очень доброму преподавателю, самому профессору исторической живописи в Академии художеств Венигу<sup>39</sup>. Почему человек, уже имевший довольно крупное имя в живописи, состоявший профессором в высшем художественном училище, согласился терять время на уроках, даваемых им в частной гимназии, осталось для меня неясным. На уроках Венига, конечно, было более порядка, чем на уроках Ульянова. По крайней мере, он никого не выгонял из класса, но при его добродушии у него случалось, что я и некоторые из других моих товарищей, более способных к рисованию, занимались изображением карикатур на своих преподавателей на доске. Вениг, как художник, если карикатуры были удачны и в них было схвачено сходство, сам ими заинтересовывался и потому допускал это. Случалось, что мы некоторых из наших преподавателей рисовали в виде животных и т. п.<sup>40</sup> Однажды такая забава кончилась для меня довольно крупной неприятностью. На уроках рисования в помещении самого большого класса — третьего, стеклян-

<sup>38</sup> Имеется в виду Николай II. (Прим. авт.)

<sup>39</sup> Вениг Карл Богданович (1830–1909), исторический живописец, академик Академии художеств (1860), участник росписи храма Христа-Спасителя в Москве. (Прим. авт.)

<sup>40</sup> В.П. Постникова в виде льва, Уртеля в виде кота, Миттеллахера в виде собачки и т. д. (Прим. Д.П. Семёнова)

ная дверь которого выходила на верхнюю площадку лестницы, занималось иногда по два класса вместе. На одном из таких уроков Венига я, стоя у доски, занимался как раз рисованием всех своих преподавателей в карикатурах и в виде различных животных, когда я, к ужасу своему, через стеклянную дверь заметил, что сам Карл Иванович поднялся по лестнице и собирается войти прямо в наш класс, уже начиная нажимать ручку двери. Опасаясь не только за себя, но за самого Венига, которому едва ли было бы приятно услышать упрёк за то, что он допускает на своих уроках рисование карикатур на учителей, я с особой поспешностью стал стирать на доске компрометирующие рисунки, но неловким движением нечаянно уронил доску так, что она уперлась в дверь и загородила вход Карлу Ивановичу. Думаю, что Карл Иванович узнал о таком рисовании карикатур и хотел нас поймать на этом, причём упавшая доска ему показалась сброшенной намеренно. Пока подняли доску и таким способом освободили вход, он успел сильно рассердиться и с гневом в голосе спросил: «Кто уронил доску?». Я тотчас же вышел и объявил, что я. «Пошёл!» закричал он на меня без обычного своего добродушия и даже несколько подтолкнув рукою в спину, и сам отправился вслед за мною вниз по лестнице. Здесь он завёл меня в какую-то комнату, наполненную старыми пыльными книгами и исполнявшую обязанности карцера, в которой и запер меня на ключ<sup>41</sup>. Заключение моё однако продолжалось недолго, не более 20 минут, а именно до окончания урока рисования и начала следующего, когда Карл Иванович выпустил меня и я с удовольствием увидел, что гнев его уже улегся.

Венига старшего ещё до моего выхода из школы сменил его брат, Вениг младший, которым и закончился ряд моих школьных учителей рисования.

Для полноты, должен упомянуть, что в третьем классе мне пришлось ещё очень недолго заниматься историей у предшественника Штрукке Бауэра, наводившего на учеников тоску и скуку, а по естественным — у Лоренца. Затем в старших классах в течение непродолжительного времени нам преподавал химию Литинский, отличившийся тем, что при одном химическом опыте, при коем должен был получиться газ с очень неприятным запахом, разрешил всем ученикам курить (закурили, конечно, и не курящие) и производил самый опыт при 20° мороза на дворе, куда мы вышли без верхнего платья и даже без сюртуков, чтобы не запачкаться, через открытое окно лаборатории. Ещё, кроме того, нам пришлось заниматься чтением одного из классиков, кажется Овидия, уже в седьмом классе с очень учёным, но очень скучным Шмидтом, которого мы в виду усыпительности его преподавания прозвали по-немецки *Schlafmaschine* (усыпительная машина). Наконец, гимнастику преподавал коренастый и сильный господин, кажется из унтер-офицеров, Муравьёв.

## V

Между учениками школы в моё время преобладали дети из сравнительно богатых, преимущественно немецких семей, а русские составляли немного менее половины. Означенные немцы, впрочем, преобладали между реалистами и большею частью выходили из 4-го, 5-го и 6-го классов, посвящая себя затем коммерческой деятельности. Что касается классиков, проходивших как седьмой, так и восьмой класс, уже тогда существовавший в школе под названием старшего отделения седьмого класса (*Ober septima*)<sup>42</sup>, то между ними, наоборот, большею частью преобладали русские из очень просвещённых семей. Были между ними часто дети профессоров университета и академии художеств. В числе их в моё время воспитыва-

<sup>41</sup> Запирание в карцер было очень редким событием в школе, случавшимся раз в несколько лет. (Прим. Д.П. Семёнова)

<sup>42</sup> Классы носили в то время латинские названия: *prima*, *secunda*, *tertia*, *quarta*, *quinta*, *unter septima* и *ober septima*. В названиях двух старших классов смесь латыни с немецким. (Прим. Д.П. Семёнова)

вались: Савич (сын известного астронома), два Хвольсона (дети профессора), Редкин (сын профессора, впоследствии ректора Университета), три Резанова (сыновья ректора архитектурного отделения Академии художеств), два Кракау (сыновья профессора архитектуры). Кроме того, незадолго перед моим поступлением, скончался необыкновенно способный мальчик, получавший по пяти из всех предметов, сын известного Константина Дмитриевича Кавелина. Между детьми богатых коммерсантов, учившихся в школе в моё время, могу назвать Брандта, которому я давал уроки, Мейера, Лампе и других. Были и дети из богатых русских купеческих семей, довольно известных, как-то: Елисейев, Дурдины, Овсянниковы и другие. Попадались и дети аристократических фамилий, но эти лица, большею частью, оставались недолго, переходя потом в другие учебные заведения. Между ними были князь Ф.С. Голицын, граф <С.> Орлов-Давыдов и Д.С. Сипягин<sup>43</sup>.

Закончив эту краткую характеристику преподавателей и того контингента, из которого набирались ученики школы, возвращаюсь к прерванному, на переходе моём из четвёртого в пятый класс, описанию того, как я проходил школу, и что за это время в ней совершилось.

Так как отношения Карла Ивановича, как к преподавателям, так и к ученикам, по своей трогательной простоте, напоминали отношения членов одной большой семьи между собою, то не мудрено, что у нас праздновались в этой большой семье и свои семейные праздники. Самым крупным из наших праздников был день рождения Карла Ивановича, приходившийся на 29 октября. В этот день обыкновенно утром все ученики собирались в школу немного ранее начала классов и гурьбой отправлялись во второй этаж, в квартиру своего любимого директора с целью принесения ему поздравлений. При помощи учителя хорового пения, а такой предмет входил в число обязательных для всех, у кого был хоть какой-нибудь голос или слух, разучивалась особо какая-нибудь кантата или песнь и она-то и пелась ему в виде грандиозной серенады. Сам Карл Иванович отвечал на наше приветствие речью, всегда живой и остроумной, всегда трогательной и подтверждавшей и укреплявшей ту связь, которая так тесно связывала его личную жизнь с жизнью основанной им и руководимой им школы. Однажды он сравнил свою жизнь с странствием, свои дни рождения со станциями, а приветствия своих учеников со вкусными закусками и бутербродами. Мы потом часто повторяли эту речь, представляя, как он её говорил. На поздравления являлись и многие из бывших воспитанников. Затем классы в этот день шли обыкновенным порядком и лишь к завтраку ученики, вместо обыкновенного молока с чёрным и белым хлебом, получали шоколад и сладкое печенье.

Кажется, в первый год моего пребывания в пятом классе некоторым ученикам школы пришла мысль, в виде сюрприза и подарка Карлу Ивановичу, устроить в школе домашний спектакль, в котором приняли бы участие одни ученики. На устройство этого спектакля были собраны необходимые деньги между учениками, из коих были выбраны и распорядители и кассир, а затем к участию в этом деле были приглашены преподаватель русской словесности Рогов, немецкой — Отто и французской — Жонт. Были выбраны пьесы, я взялся быть декоратором, и работа закипела. Комитет из нашего класса заведовал как суммами, так и всею хозяйственной частью. Для таких юношей, почти мальчиков (всем нам было от 14 до 17 лет), самоё ведение хозяйственного дела: закупки, заказы, напр.<имер>, ламп, самой сцены, т.е. помоста для неё, а также выбор взятых на прокат костюмов и проч. представляло не малый интерес. Нами собрано было около четырехсот рублей, которые все и были израсходованы. Русская пьеса была «Скупой рыцарь» Пушкина, французская — «l'Avare<sup>44</sup>» Мольера, немецкая была менее интересна и значительна. Обе первые пьесы требовали довольно дорогих ко-

<sup>43</sup> Впоследствии министр внутренних дел. (Прим. Д.П. Семёнова)

<sup>44</sup> Скупой (франц.). (Прим. авт.)

стюмов, а потому главнейшая часть расходов и выпала на долю костюмов и гримировки, а именно, около 200 р. Сцена, т.е. помост со всеми приспособлениями, обошлась в 120 р. Прокат ламп стоил 35 р. и всего дешевле обошлись декорации, так как рисовал их я с некоторыми товарищами, мне помогавшими, а платить пришлось только за бумагу, клей, краски, кисти и т.п. Декорации стоили около 17 рублей. О, как сильно это дело нас тогда занимало! как интересны были совещания и обсуждения того, что и как заказать и купить! Во все эти распоряжения учителя вовсе не вмешивались. Интересны были и вечерние часы рисования декораций в одной полуподвальной квартире дома К.И. Мая, тогда пустовавшей. Главным декоратором был я, а главным моим помощником Дмитрий Александрович Резанов<sup>45</sup>. Так же как и я, он был одним из лучших рисовальщиков в школе; сын ректора архитектурного отдела Академии художеств Александра Ивановича Резанова, он также готовился быть архитектором. Будучи его другом, и вместе с тем очень хорошо знакомым с его семьёй, я пользовался вместе с ним богатыми изданиями по истории архитектуры, имевшимися у его отца.

Подвал в замке скупого рыцаря и приёмная герцога были написаны отчасти по подлинным изображениям средневековых замков и построек и во всяком случае с вполне современными эпохе орнаментами и в выдержанном стиле того времени. Анфилада сводов подвала, поддержанных толстыми приземистыми колоннами с романскими капителями, так же как резные готические двери и окна приёмной герцога, произвели большой эффект во время представления. Немалый эффект произвела и улица немецкого городка ночью, нарисованная для немецкой пьесы, и два маленьких декоратора были несколько раз вызываемы. Распределение ролей в пьесах французской и немецкой не сохранилось в моей памяти, в Скупом же Рыцаре, впоследствии несколько раз ставившемся в той же школе с участием двух моих сыновей в главной роли пьесы, при первой постановке, роли были распределены так: Герцог — Бели<sup>46</sup>; Скупой рыцарь — Ростовский<sup>47</sup>; Альберт, сын его — Апрелев<sup>48</sup>, а роль еврея ростовщика выпала на мою долю.

Насколько сам К. И. знал о готовившемся ему сюрпризе, осталось мне неизвестным. Вероятно, преподаватели ему сообщили, что будет домашний спектакль, устраиваемый учениками, но дальнейших подробностей не объясняли. Самые приготовления к спектаклю, репетиции, хозяйственные распоряжения и хлопоты, рисование декораций, как нельзя более способствовали сближению учеников как между собою, так и с принявшими участие в общем деле преподавателями. С одной стороны ведение практического дела, а с другой, беседы с учителями во время репетиций, также способствовали общему развитию учеников и увеличению в них интереса к искусству. Сам Карл Иванович остался настолько доволен, что решил повторить школьный спектакль и на следующий год, приняв крупную часть расходов на свой счет.

Не стану описывать в отдельности, по каждому классу, как второй год моего пребывания в пятом классе, так равно и годы, проведённые без задержания в шестом классе и младшем отделении седьмого. Вообще из всего времени пребывания в школе это было наиболее интересное и наиболее полезное для моего общего развития. В это время складывались более близкие и сознательно дружеские отношения с товарищами; в это время, благодаря любимому нами преподавателю русской литературы Рогову, мы, кроме официального, так сказать, курса русской литературы по Стоюнину<sup>49</sup>, прочли в классе в подлиннике и полностью все ре-

<sup>45</sup> В школе Мая с 1861 по 1871 г., когда он окончил полный курс, впоследствии архитектор, скончавшийся от чахотки в 1884 г. (Прим. Д.П. Семёнова)

<sup>46</sup> Ныне богатый коммерсант; в школе Мая с 1861 по 1868 гг. (Прим. Д.П. Семёнова)

<sup>47</sup> Впоследствии участник банкирской конторы Стефаниц, Ростовский и К°. (Прим. Д.П. Семёнова)

<sup>48</sup> В школе Мая с 1867 по 1868 гг. (Прим. Д.П. Семёнова)

<sup>49</sup> Стоюнин Владимир Яковлевич (1826–1888) — педагог, методист-словесник. (Прим. авт.)

нительно сочинения Пушкина, Гоголя, Лермонтова и многие сочинения Тургенева, Гончарова, Достоевского, даже Писемского и других<sup>50</sup>. В это время, благодаря талантливому изложению Штрукке, мы познакомились не только с хронологией истории и голыми фактами её, но и с самым смыслом событий, их взаимною связью, а также с историей человеческой мысли и культуры<sup>51</sup>. В это же время, наконец, преподавая нам древние языки, Уртель знакомил нас с древним миром, перенося нас в его обстановку, знакомя с кругозором древних и с их внутренней жизнью и бытом. Было чем интересоваться, было о чём потолковать и с учителями и между собою, было на чём вырасти у учеников и некоторым идеальным стремлениям, и некоторому интересу ко всему высокому и прекрасному. Прибавьте к этому почти товарищеское отношение к нам самого К.И. Мая, те интересные сообщения из области естественных наук, которые нам делал он сам и некоторые другие преподаватели — как Вильямс и физик Филипенко, и станет понятно и ясно, почему это время осталось у меня, и вероятно, у многих моих товарищей, в воспоминаниях, как наилучшее время нашей школьной жизни, наиболее дорогое по своим воспоминаниям и оставившее наиболее глубокие следы в нашем умственном укладе и развитии. При этом в нашем товарищеском кругу держались наиболее высокие и искренние понятия о чести и порядочности, и большинство при значительном развитии умственном, расширенном кругозоре и знакомстве, по книгам, со всеми сторонами жизни, сохранило всю свежесть юной неиспорченности и непорочности до окончания курса или выхода из школы.

Наибольшая близость наша к П.И. Рогову, именно в это время, запечатлелась и на фотографии моего шестого класса, поднесённой Карлу Ивановичу 29 октября 1868 г. На этом портрете, кроме сидящего посреди нас Рогова<sup>52</sup> и моего, имеются портреты шедших вместе со мной по классическому отделению Николая Николаевича Корфа<sup>53</sup>, Севастьяна Романовскаго<sup>54</sup>, Евгения Гамдорфа<sup>55</sup> и Александра Петерса<sup>56</sup>, а также реалистов: Артура Брандта, Эдуарда Мейера, Вейхардта и Бейтина<sup>57</sup>.

Во второй год моего пребывания в пятом классе, т.е. в зиму 1867-68 года, был второй со времени существования школы домашний в ней спектакль, на этот раз уже при личном участии Карла Ивановича как деньгами, так и хлопотами. За дело взялся Уртель, и решено было поставить пьесу на латинском языке под его личным руководством. Избрана была комедия Плавта «Trinummus»<sup>58</sup>. В дополнение к ней должны были быть поставлены сцены из «Недоросля» Фонвизина, под руководством Рогова, и «Лагерь Валленштейна» Шиллера, под руководством Штрукке. В представлении комедии Плавта на латинском языке принимали участие исключительно воспитанники обоих отделений седьмого класса и шестой класс, на меня же было возложено рисование декораций. Для латинского спектакля требовалась лишь одна декорация, не меняющаяся в течение всего спектакля. Она должна была изображать

---

<sup>50</sup> Лучшие и большие сочинения гр. Л. Толстого «Война и мир» и «Анна Каренина» тогда ещё не были написаны. (Прим. Д.П. Семёнова)

<sup>51</sup> Помню, как мы писали сочинения о реформации и её причинах. (Прим. Д.П. Семёнова)

<sup>52</sup> Надо заметить, что в то время классных наставников не было, и класс сам просил одного из своих преподавателей сняться вместе с ним для поднесения портрета Карлу Ивановичу. (Прим. Д.П. Семёнова)

<sup>53</sup> Владелец майората в Курляндии; в школе в 1868–1873 гг. (Прим. Д.П. Семёнова)

<sup>54</sup> С. Романовский в школе в 1865–1873 гг. (Прим. Д.П. Семёнова)

<sup>55</sup> Е. Гамдорф в школе в 1866–1873 гг. (Прим. Д.П. Семёнова)

<sup>56</sup> Петерс в школе в 1863–1872 гг. (Прим. Д.П. Семёнова)

<sup>57</sup> Брандт в школе в 1862–1872 гг.; Мейер — в 1863–1871 гг.; Вейхардт — в 1867–1871 гг. и Бейтин — в 1865–1871 гг. (Прим. Д.П. Семёнова)

<sup>58</sup> «Трёхгрошовый день». (Прим. авт.)

улицу в древних Афинах. Большим другом К. И. был профессор университета Люгембиль, который своими знаниями помогал в деле постановки этой пьесы. Мне пришлось ходить к нему за очень интересными указаниями, касавшимися древнегреческого быта и их построек. Задний план декорации представлял собою видный вдаль на фоне яркого южного неба Акрополь<sup>59</sup>, срисованный с иллюстраций, взятых из ценных изданий, принадлежавших профессору Люгембилю. Все, и статуя Паллады Афины, и роскошные храмы, и спускающиеся с горы к городу ступени были изображены точно, по лучшим изданиям и исследованиям. На переднем плане на левой стороне афинский частный дом с одной дверью, без окон, лишь с нишами, в которых стояли статуи, был также изображён археологически верно, а на правой стороне стоял бюст Гермеса<sup>60</sup>, тоже срисованный из иллюстрированных изданий, имевшихся у профессора. Много стараний было положено мною и моими помощниками Резановым и Гамдорфом на изображение этой декорации. Весь ландшафт, украшенный южной растительностью, был освещён мягкими розовыми лучами заходящего южного солнца. Несколько бликов, ожививших сухие, но стройные линии классических карнизов, колонн и их капителей, были положены учителем рисования Венигом младшим. Однако и тут пришлось в последнюю минуту кое-что переделывать. Мною была нарисована для помещения в нише афинского дома статуя Венеры, но К. И. нашёл неудобным помещать нагую статую, и пришлось нарисовать новую статую уже во время генеральной репетиции. С неменьшим тщанием рисовалась мною и декорация для лагеря Валленштейна. Побывав в 1864 году в Германии и Богемии, я уже был знаком с характером местности, а потому окрестности Пильзена вышли тоже достаточно хороши и соответственны ландшафтам Чехии вообще. И тут в последнюю минуту пришлось, однако, рисовать деревья и палатки, а то оказалось, что с боковых мест можно было бы видеть школьные стены. Не меньше тщания было приложено и к костюмировке.

Самые костюмы обошлись очень дорого и были взяты напрокат чуть ли не из Императорских театров. На генеральной репетиции и на представлении присутствовал сам профессор Люгембиль; он сам осматривал костюмы, прикалывал тоги и располагал складки их так, как носили их в действительности древние греки, следил за точной и верной подвязкой сандалий и пр. На представлении присутствовал тогдашний попечитель округа И.Д. Делянов, П.Г. Редкин и много других высокопоставленных лиц, для которых были изготовлены книжки с латинским и русским текстом классической комедии. Латинская комедия началась прологом, в котором выступили две греческие богини, изображавшиеся одна уже упомянутым Дмитрием Резановым, а другая старшим Глезером, впоследствии сделавшимся инженером и строителем Витебск-Жлобинской железной дороги<sup>61</sup>. Оба юноши были очень эффектными и интересными богинями, в греческих причёсках с диадемами, Резанов — белокурый, а Глезер — тёмноволосый.

В других ролях выступали все тогдашние воспитанники обоих отделений седьмого класса, в числе пяти человек, и весь шестой класс, в числе шести. После латинской комедии пошли сцены из «Недоросля» (обучение и экзамен), разыгранные, главным образом, тогдашним пятым классом. Самого Недоросля не без некоторого таланта изображал мой товарищ Гамдорф; недурной госпожой Простаковой был другой мой товарищ Романовский, несмотря на то, что он совсем не мог выговорить буквы к. На мою долю выпала роль Цыфиркина.

После «Недоросля» пошел «Лагерь Валленштейна». Гамдорфу пришлось опять проявить свои способности комического актёра. Он изображал капуцинского монаха, говоряще-

<sup>59</sup> Акрополь — крепость в верхней части города в Греции; здесь имеется в виду Акрополь в Афинах. (Прим. авт.)

<sup>60</sup> Гермес — в древне-греческой мифологии бог торговли и прибыли. (Прим. авт.)

<sup>61</sup> Эдуард Эдуардович Глезер в школе с 1864 по 1869 год. Глезер был тогда в старшем отделении седьмого класса, а Резанов — в шестом. (Прим. Д.П. Семёнова)

го проповедь разнузданным солдатам Валленштейна<sup>62</sup> (самая большая роль), и играл очень хорошо. Мой товарищ Петерс изображал маркитантку Густель, а мне досталась небольшая роль одного из солдат. Редкая для домашнего спектакля обстановка, как по декорациям, так в особенности по костюмам; живописная картина древних Афин в розовых лучах заходящего солнца и эффект классических, совершенно точных, одеяний произвели сильное впечатление. Затем разнообразие мундиров и лат Валленштейновской армии на фоне широких полей Богемии с виднеющимися вдали шпилями и колокольнями города Пильзена, способствовали усилению этого впечатления, и три юных декоратора наравне с преподавателями-режиссёрами подвергались многократным вызовам. Второй домашний спектакль удался как нельзя более. Вероятно, эта постановка латинской пьесы сблизила тогдашний шестой класс, с которым мне впоследствии пришлось учиться вместе во время нахождения моего в младшем отделении седьмого класса, с Уртелем, с которым они снялись на поднесенной К. И. фотографии. В классе этом, составившем выпуск 1871 года, были: Л. Глезер второй, будущий директор училища Св. Екатерины; М. Линген, ныне преподаватель того же училища; Д. Резанов, о котором я уже достаточно говорил; Ю. Редкин, сын профессора и ректора университета, П.Г. Редкина, ныне член Суда; Вестфален, умерший вскоре по окончании курса в университете, и Гюбер<sup>63</sup>. Предшествовавший этому выпуск (во время представления младшее отделение седьмого класса) состоял из Савича, сына известного астронома, и Саковского<sup>64</sup>, ныне доктора медицины. Выпуск же 1869 года, также принимавший участие в латинском спектакле, состоял из О.Д. Хвольсона, ныне профессора физики, Э.Э. Глезера, инженера, и П.И. Сомова<sup>65</sup>, ныне профессора высшей математики в Горном институте.

Третий школьный спектакль, в котором мне пришлось принимать участие, происходил, кажется, когда я был в шестом классе, а может быть даже в седьмом. Мне опять пришлось взяться за кисть и рисовать декорации. Подробности этого спектакля более улетучились из моей памяти, чем подробности первых двух. Помню лишь, что в русской пьесе женская роль была дана Бруни<sup>66</sup>, нынешнему инспектору в Академии художеств. Он в женском платье оказался очень хорошенькой женщиной — Марьей Ивановной (так звали особу, которую он изображал). Вследствие этого, между товарищами за ним надолго сохранилась кличка Марьи Ивановны.

Как совместные хлопоты о спектаклях, так и вообще более продолжительное совместное пребывание в школе в связи с тем общим интересом к литературе, рисованию и многому идеальному и изящному, способствовали сближению товарищей между собою и группировке их в более тесные товарищеские кружки. На этой почве завязывалось и более близкое знакомство их и их семей между собою.

Ранее всего я сблизился с семьей Резановых, <из> коих <учились в Гимназии К.И. Мая> трое, а именно старший Дмитрий, наиболее мне близкий друг из школьных товарищей, второй Владимир<sup>67</sup>, умерший ещё будучи учеником гимназии, кажется в пятом классе

---

<sup>62</sup> Валленштейн (Вальдштейн) Альбрехт (1583–1634) — главнокомандующий в тридцатилетней войне 1618–1648 гг. (Прим. авт.)

<sup>63</sup> В школе они находились: Л.Э. Глезер 1864–1871 г., М.К. Линген 1860–1871, Д.А. Резанов 1861–1871, Ю.П. Редкин 1864–1871, Г.А. Вестфален 1862–1871. (Прим. Д.П. Семёнова)

<sup>64</sup> М.А. Савич в школе с 1862 по 1870 гг. и К.К. Саковский с 1863 по 1870 гг. (Прим. Д.П. Семёнова)

<sup>65</sup> О.Д. Хвольсон в школе с 1861 по 1869, Э.Э. Глезер с 1864 по 1869 и П.И. Сомов с 1861 по 1869 гг. (Прим. Д.П. Семёнова)

<sup>66</sup> Н.А. Бруни, в школе с 1868 по 1875 гг. (Прим. Д.П. Семёнова)

<sup>67</sup> В. Резанов в школе с 1861 по 1870 гг., когда он и скончался. (Прим. Д.П. Семёнова)

(он был моложе меня), и третий Николай<sup>68</sup>, умерший в 1880 г. уже учеником Академии художеств. Знакомство наших семей завязалось случайно, благодаря лету, проведённому на Аптекарском острове, на дачах, расположенных очень близко друг от друга. Здесь я познакомился со всей семьёй Резановых, в которой было пятеро детей. Кроме названных трёх учеников гимназии К.И. Мая, у них было ещё две сестры, Серафима и Ольга. Старшая из них, Серафима, вышла впоследствии замуж за моего товарища Гамдорфа; она так же, как и старший её брат Дмитрий, скончалась от чахотки, достигнув тридцатилетнего с небольшим возраста. Младшая её сестра Ольга, так же, как и оба младших брата Резановых, скончалась в возрасте около двадцати лет, Трагическая судьба этой достойной и дружной семьи заключалась в том, что всё молодое поколение моих сверстников обоёго пола, в числе пяти человек, погибло в более или менее раннем возрасте от чахотки лёгких. Впоследствии у меня, так же как и у моего товарища Дмитрия Резанова и его семьи, завязалось близкое знакомство и дружба ещё с несколькими товарищами, в числе коих находились Редкин, сын профессора и ректора университета; Савич, сын профессора астрономии, впоследствии женившийся на второй сестре своего товарища Ю. Редкина; Гамдорф, мой однокашник; два брата Корф, Николай и Семён<sup>69</sup>, из которых старший, Николай, был со мной в одном классе, а младший, Семён, классом моложе. К этой компании отчасти примыкали бывавшие у меня и Редкина, мой товарищ Романовский, необыкновенный силач, этим славившийся в школе, и Мальшевский<sup>70</sup>, бывший классом меня моложе. Мальшевский впоследствии сделался врачом-хирургом, сопровождал Скобелева в его текинском походе<sup>71</sup> и иногда после этого лечил знаменитого генерала. Кроме того, иногда посещал нас Александр Александрович Кракау<sup>72</sup>, старший брат бывшего директора Школы К.И. Мая, ныне профессор Электротехнического института.

К нашей компании отчасти примыкал ещё двоюродный брат моей мачехи, живший в одном доме со мною, у своего дяди А.П. Заблоцкого, И.В. Коссович<sup>73</sup>. Сестра этого последнего, также жившая в одном со мною доме, очень сдружилась с сёстрами моего товарища и друга Резанова. Вся эта компания сохранила и знакомство, и некоторые связи и по выходе из гимназии. Некоторые из нас, а именно, кроме Д. Резанова, Редкин, Гамдорф и я, впоследствии участвовали ещё в двух домашних спектаклях, устраивавшихся у Резановых.

Несколько далее от этой компании, но всё же в некотором знакомстве состояли ещё некоторые товарищи и однокашники Мальшевского и Семёна Корфа, а именно: Зиновьев<sup>74</sup>, нынешний петербургский губернатор, и Александр Александрович Макаров<sup>75</sup>, ныне товарищ министра внутренних дел, имевший ещё младшего брата, и несколько братьев Бруни. Кроме того, нам был близко знаком ещё более молодой товарищ самого младшего Резанова — Николая, живший у Резановых в квартире, вследствие того, что родители его жили в Петергофе,

---

<sup>68</sup> Н. Резанов в школе с 1868 по 1878 гг. (Прим. Д.П. Семёнова)

<sup>69</sup> Ныне Ломжинский Губернатор, в школе с 1869 по 1873 гг. (Прим. Д.П. Семёнова)

<sup>70</sup> Ф.И. Мальшевский в школе с 1865 по 1873 гг., умер в 1897 г. (Прим. Д.П. Семёнова)

<sup>71</sup> Имеется в виду Ахалтекинская экспедиция 1880–1881 гг. под руководством генерала от инфантерии Михаила Дмитриевича Скобелева (1843–1882). (Прим. авт.)

<sup>72</sup> В школе с 1865 по 1873 гг. (Прим. Д.П. Семёнова)

<sup>73</sup> Коссович был в школе с 1865 по 1870 гг., из пятого класса перешёл в Морское училище, ныне капитан 1-го ранга, командовавший крейсером «Паллада» в начале русско-японской войны. (Прим. Д.П. Семёнова)

<sup>74</sup> А.Д. Зиновьев в школе с 1864 по 1873 гг. (Прим. Д.П. Семёнова)

<sup>75</sup> А.А. Макаров в школе с 1866 по 1874 гг. (Прим. Д.П. Семёнова)

Владимир Гильтебран<д>т<sup>76</sup>, ныне доктор медицины, служащий в Морском ведомстве. Этот последний был в одном классе с В.А. Кракау<sup>77</sup> и Панаевым<sup>78</sup>.

Если я перечислил несколько товарищеских кружков, отчасти друг с другом соприкасавшихся, то потому, что связь между ними не ограничивалась одной школой и сохранилась более или менее продолжительное время<sup>79</sup>. Она, т.е. эта связь, не исключала близких товарищеских отношений и с остальными одноклассниками, с которыми знакомство ограничивалось одной школой.

Выше уже был перечислен мною тот седьмой класс, который составлял его старшее отделение в то время, когда я находился в младшем его отделении. Мы все учились в течение одного года вместе и, следовательно, наше товарищество было довольно тесно.

Точно так же во время моего пребывания в старшем отделении седьмого класса мне пришлось учиться вместе с составлявшими младшее отделение того же класса, а именно: Семён Корф, Зиновьев, Мальшевский и Александр Кракау, впоследствии окончившие курс в 1873 году вместе с тремя моими полными товарищами Гамдорфом, Николаем Корфом и Романовским. Причиной такого задержания на лишний год трёх моих товарищей были особые строгости, введённые, в год моего выпуска, тогдашним министром народного просвещения графом Толстым.

## VI

Пришлось мне кончать курс в очень тяжелый для всех кончавших со мною одновременно курс в гимназиях год. В этот год вводилась новая классическая система, и прибавлялся к семи существовавшим во всех гимназиях новый, восьмой класс. В этот трудный год почти во всех гимназиях кончило курс по два, по три и редко по четыре и пяти человек. Условия выпуска были таковы, что все, получившие менее 4 ½ из древних языков и математики и менее четырёх в среднем из остальных предметов, считались лишь переведёнными во вновь открываемый восьмой класс и только получившие столь хорошие отметки оканчивали курс. Когда я поступил в университет, первый курс оказался переполнен семинаристами, а число гимназистов было весьма незначительно.

Тревожное настроение и беспокойство о том, что случится со мною и моими товарищами при выпуске, охватило и Карла Ивановича, и преподавателей, и нас самих уже осенью 1871-го года. В сущности у нас восьмой класс, под названием старшего отделения седьмого класса (*ober septima*), уже существовал, и К. И. мог надеяться, что мы получим право удовлетворить на экзамене обыкновенным требованиям, а не чрезвычайным, предъявляемым к воспитанникам седьмого класса. В этом смысле и было возбуждено ходатайство перед Министерством. Ходатайство это казалось столь естественным, что мы почти не сомневались в его успехе. Но не так посмотрело на дело Министерство, проникнутое тогда стремлением всячески затормозить доступ в высшие учебные заведения, всячески придирается ко всему, к чему только можно было придаться, нисколько не заботясь о судьбе молодых людей, которым, конечно, было очень тяжело совершенно неожиданно быть задержанными на лишний год в среднем учебном заведении. Министерство придралось к тому, что в нашем восьмом классе число латинских уроков на два урока в неделю было меньше предполагаемого во вновь

<sup>76</sup> В.А. Гильтебран<д>т в школе с 1870 по 1877 гг. (Прим. Д.П. Семёнова)

<sup>77</sup> В.А. Кракау в школе с 1868 по 1876 гг. (Прим. Д.П. Семёнова)

<sup>78</sup> А.И. Панаев в школе с 1872 по 1877 гг. (Прим. Д.П. Семёнова)

<sup>79</sup> Одна из сестёр Бруни <Любовь Александровна Бруни — Авт.> вышла замуж за младшего Макарова <Николая Александровича. — Авт.>, погибшего в молодом возрасте на постройке, а сестра Панаева замужем за Гильтебран<д>том. (Прим. Д.П. Семёнова)

открываемых восьмых классах. Несмотря на то, что в действительности наши познания по латыни, благодаря Уртелю, а затем Мальхину, были гораздо выше, чем в казённых гимназиях, что мы свободно писали сочинения по-латыни, отвечали в классе по теории стихосложения на чистом языке древних римлян, чего никто из современных нам гимназистов не в состоянии был сделать, существования нашего восьмого класса не признали. Даже впечатление, ещё свежее в памяти попечителя округа И.Д. Делянова, от постановки латинской пьесы, не помогло. Чисто формальная придирка поставила наш восьмой класс на один уровень с седьмым гимназическим. Очевидно, дело было не в настоящем классицизме, а в стремлении создавать систему затруднений и придирок.

Около конца ноября окончательно выяснилось, что с нас потребуют тех отличных отметок на экзамене, о которых уже было сказано выше; мало того, что на каждом экзамене, кроме окружного инспектора, будет присутствовать по каждому предмету специально откомандированный экзаменатор из преподавателей казённых гимназий, причём выставленный им балл и будет считаться окончательным, а баллы, выставляемые нашими собственными преподавателями, не будут иметь никакого значения. Всё это, а вместе с тем и торжественность экзаменационной обстановки в виде обязательного зелёного сукна на столе, вицмундиров экзаменаторов и пр., сильно нас смущало, да немало смущало, кажется, и самого К. И. и наших преподавателей. В нашей гимназии, при переходе из класса в класс, экзаменов почти вовсе не существовало. Переводили по годовым отметкам и экзаменовали лишь некоторых, немногих, по тем предметам, по которым они были слабоваты. Да и эти-то экзамены совершались очень просто и скромно. Ученики предупреждались о том, кто и из каких предметов подвергнется экзамену весной, а затем на урок приходил сам Карл Иванович и вместе с учителем спрашивал экзаменуемого по всему пройденному за год курсу. В случае плохих с его стороны ответов, ему либо давалась точно такая же переэкзаменовка осенью, либо он оставлялся на второй год. Лучших учеников переводили без экзаменов, а худших, имеющих плохие отметки из значительного числа предметов, без экзаменов оставляли на второй год.

Гимназия наша в то время ещё полных прав казённой гимназии не имела, но постепенно завоёвывала себе эти права. В начале существования школы, оканчивавшие полный гимназический курс (в то время современных реальных училищ не было) сдавали экзамен при казённых гимназиях. Позднее было дано право присутствовать на этих экзаменах и нашим преподавателям, а в моё время экзамены уже производились в самой нашей гимназии в присутствии окружного инспектора и казённых преподавателей, лишь по некоторым предметам. Конференция наших преподавателей решала перед таким экзаменом, кого к нему допустить и кого не допустить. При этом за всё время существования школы не было случая, чтобы допущенный к экзамену на нём провалился, чем К. И. имел полное право гордиться. Что же было делать при этих новых обстоятельствах и этих строгостях? Конференция решила, что при обыденных условиях все пять человек, находившихся в старшем отделении седьмого класса, выдержали бы экзамен, а при столь строгих требованиях, равносильных получению в казённых гимназиях серебряной медали, нельзя было поручиться ни за кого. Полагали, что Романовский и я могли рассчитывать на получение пяти по математике, но едва ли могли получить более четырёх из латыни. Остальные три<sup>80</sup> могли получить по пяти из древних языков, но не могли рассчитывать на столь же блестящий балл из математики. Решили допустить к экзамену всех пятерых, в надежде, что, авось, кто-нибудь проскочит, уже не рассчитывая, что выдержат все, Карл Иванович сам лично разговаривал с нами об этом, делился и своими надеждами, и своими разочарованиями.

---

<sup>80</sup> Гамдорф, Корф и Петерс. (Прим. Д.П. Семёнова)

Чтобы подготовить нас лучше к трудному экзамену, решено было произвести пробный экзамен в своей среде, но при зелёном столе и торжественной обстановке на праздниках Рождества Христова, а затем давать нам по всем предметам экстренные уроки с повторительным курсом по вечерам и даже по праздникам. Понятно, что этот последний год моего пребывания в школе нам было уже не до развлечений и не до домашних спектаклей.

Впрочем, пробные экзамены на праздниках, как не серьёзные, нас всё-таки не смущали; к ним мы почти не готовились и сдавали их спустя рукава. Хотелось и повеселиться на праздниках. Помню, как я и несколько из моих товарищей явились на такой пробный экзамен из русского языка прямо с бала, даже вовсе не спав всю ночь. Надо было явиться на экзамен к 9-ти часам, а мы протанцевали до семи часов утра, не стоило ложиться спать и нас порядком клонило ко сну к концу этого пробного экзамена.

Экстренные уроки доставили нам, т.е. мне и моим одноклассникам, случай познакомиться ещё с одним преподавателем, тогда ещё недавно поступившим в число учителей нашей школы, но затем прослужившим ей много лет до самой своей кончины, а именно с М.Е. Доброписцевым. Он в это время уже преподавал русский язык в младших классах гимназии, и ему было поручено повторение с нами грамматики. Действительно, увлекаясь изучением русской литературы, с которой мы, благодаря П.И. Рогову, ознакомились весьма основательно, мы в значительной мере успели позабыть самые грамматические правила. Правда, мы писали очень недурно русские сочинения, лишь изредка делая небольшие ошибки в орфографии и в особенности в знаках препинания, но самой грамматики со времени преподавания её Еленевым старшим (т.е. с третьего класса) не повторяли и удерживали лишь смутно в своей памяти знаменитый его самовар. Некоторое легкомыслие наше помешало прекрасному педагогу Доброписцеву повторить с нами основательно эту часть; в особенности плохо мы знали грамматические термины и названия. Помню, как уже на настоящем выпускном экзамене, когда я стал затрудняться в названии наклонений и т. п., К. И. сам выручил меня тем, что стал спрашивать, как соответственные наклонения называются в латинской грамматике, причём только путём перевода с латыни мне удалось дать правильные ответы на те вопросы по русской грамматике, которые мне были поставлены экзаменатором Филоновым.

Репетиции и дополнительные уроки шли в общем довольно успешно и весело, по мере приближения к весне всё учащаясь и получая всё большее преобладание над нормальными уроками. Иногда даже было прямо интересно и весело собираться рано утром или вечером, даже по праздникам, в обширных помещениях школы всего только впятером, а по Закону Божию у Постникова даже втроём, так как двое из нас (Гамдорф и Петерс) были лютеране. В ожидании прихода учителя, а иногда и на самом уроке, некоторая игривость нас не покидала, несмотря на общее напряжение, и уже почти взрослые юноши, которых Постников называл женихами, случалось, что пошаливали. Так в одно воскресенье утром, собравшись в школе и видя, что никого нет, мы зажгли почти во всех классах лампы, а затем позвали слугу Власа и стали ему выговаривать, что он забыл накануне вечером их погасить. Заспанный и бывший накануне не совсем трезвым, служитель поверил, что он действительно не загасил их, и что они прогорели всю ночь. Он поспешно стал их гасить, пока не пришёл в школьное помещение сам К. И. или кто-либо из преподавателей, и благодарил нас за то, что мы его предупредили вовремя и не довели об этом до сведения начальства.

На одном из экстренных повторительных уроков геометрии у Миттеллахера мой товарищ Гамдорф отпустил очень удачный немецкий каламбур, несколько смутивший этого преподавателя. Наш товарищ Николай Корф был вообще очень старателен, но математика ему давалась с трудом. Повторив и заучив прекрасно курс геометрии, он как-то очень бойко и без запинки доказывал равенство двух треугольников; тогда учитель нарисовал на доске два тре-

угольника совсем в другом положении — углами вниз и поставил в их углы не начальные буквы алфавита, как обыкновенно, а совершенно необычные, вроде *к*, *л*, *м*, и т. д. Затем он попросил Корфа доказать то же самое, что он только что блестяще доказывал, на этих треугольниках и при этих обозначениях. Корф сбился и начал путать, а Миттлахер рассмеялся. «Herr Mittlacher, darf ich auch mitlachen?»<sup>81</sup> — пресерьёзно спросил Гамдорф, и тогда рассмеялись все, даже сам отвечавший и смущённый Корф.

Так близилась весна, приближалось время выпускного экзамена! Сильно, очень сильно было во мне, да вероятно и в моих товарищах, желание не застревать долее в гимназии, а риск подвергнуться этой участи был очень велик. Некоторые из моих друзей, как например Резанов и Редкин, уже окончили курс, уже расстались с гимназией. Мне было 19 лет, и я прямо себе не мог представить, даже в воображении, как я ещё год пробуду в гимназии, в случае неудачи на экзаменах. Возраст мой и некоторых из моих товарищей по тогдашним временам был не малый. Ученики средних учебных заведений старше двадцати лет теперь не редкость, а тогда они были ещё диковинкой. Помню, как одного совершеннолетнего воспитанника старших классов<sup>82</sup> мы, будучи тогда в средних классах, называли дедушкой. Заслужить такое прозвище никому из нас не улыбалось.

Настали, наконец, дни экзаменов. Сначала должны были происходить экзамены письменные по древним языкам, по русскому, немецкому, французскому и по математике. Задачи, темы для русского сочинения и переводы должны были быть присланы из округа в запечатанных конвертах. Конверты эти должны были быть торжественно вскрыты окружным инспектором Савиновым, когда мы уже находились всякий на своем месте. Рассажены мы должны были быть на разных скамейках, на больших друг от друга расстояниях, отнюдь не имея с собой ничего вроде учебников, пособий, тетрадей и т. п. Придя и сев каждый на указанное ему место, мы получали только по листу чистой бумаги и должны были писать в присутствии инспектора округа, Карла Ивановича и учителей. Удаляться не дозволялось до окончания и сдачи письменной работы. Если бы кто-либо вынужден был выйти, он должен бы был кончать работу уже красными чернилами. Естественно, что вся эта обстановка наводила некоторый страх. Некоторые мои товарищи даже выучили азбуку глухонемых, чтобы иметь возможность друг друга спросить что-нибудь. Впрочем, я этой азбукой не занимался и её не знал. Всего более я боялся, конечно, латыни и в особенности письменного экзамена, так как классные переводы на латинский язык (*extemporalia*)<sup>83</sup> мне почти никогда не давались, и в самых удачных из них я всё-таки делал от трёх до пяти ошибок, что давало возможность надеяться в лучшем случае на тройку. Долго и внимательно, около часа, я перечитывал сделанный мной перевод с русского на латынь. В нём были и некоторые трудности, а некоторые слова были указаны заранее и по-латыни, и как раз очень редко употребляемые и трудные формы, особенно один очень неправильный и редкий глагол. Не будучи уверен в *averbo*<sup>84</sup> этого глагола, я поставил на его место более обыкновенный и более употребительный и наконец сдал свой перевод. К удивлению моего преподавателя Мальхина, он с трудом нашёл во всём моём переводе одну полуошибку. Он даже поразился тем, что мой перевод оказался лучшим, и подошёл ко мне с тем, чтобы я поставил на своё место указанный из округа диковинный неправильный глагол. Очень мне не хотелось это исполнить, из опасения сделать ошибку. Я горячо заспорил, уверяя, что ни один римлянин не поставил бы в этой фразе этого диковинного глагола, вместо весьма обыкновенного. Мальхин со мною вполне согласился, но сказал,

<sup>81</sup> Господин Миттлахер, можно мне тоже с Вами посмеяться? — Каламбуром, упомянутым мемуаристом, является игра слов: глагол «mitlachen» (смеяться вместе) созвучен фамилии преподавателя. (Прим. авт.)

<sup>82</sup> Беляев, в школе с 1862 по 1867 г. (Прим. Д.П. Семёнова). По данным архива — с 1861 г. (Прим. авт.)

<sup>83</sup> Спряжения (лат.). (Прим. авт.)

<sup>84</sup> Склонения (лат.). (Прим. авт.)

что надо подчиниться требованию из округа и что если я не хочу поставить этого глагола в надлежащую фразу, то я должен поставить его в скобках, чтобы показать, что я его не ставлю не вследствие незнания. Скрепя сердце я наугад поставил нужную форму глагола в скобках и подал свой перевод учителю.

О счастье! оказалось, что я не ошибся! Теперь я был необыкновенно счастлив. Самое трудное пройдено! Выпускное экстемпорале удалось! Экстемпорале, которое мне раньше никогда так не удавалось, которое и теперь ещё иногда тревожит мой сон в виде кошмара, в виде самого неприятного воспоминания о школьных годах. Такое экстемпорале в самый нужный момент удалось! Как же мне было не радоваться, не возликовать! По выходе из класса, я стал на руки, и на руках, с поднятыми в воздух ногами, прошёл всю школьную залу из одного конца в другой, т.е. проделал второй фокус, который мне тоже удался единственный раз в жизни, как и это экзаменационное экстемпорале. Другие мои товарищи также, оказалось, написали экстемпорале достаточно успешно, хотя и сделали в них от одной до двух ошибок, но все были допущены к продолжению экзаменов. У некоторых из них ошибки оказались как раз в этом выкопанном нарочно архаическом глаголе, которого я, к сожалению, теперь припомнить не могу.

Подробность относительно этого глагола весьма характерна и показывает, какое направление, можно сказать, инквизиторское и совершенно противоположное всему духу нашей частной гимназии, господствовало тогда в министерстве народного просвещения при графе Толстом. Только желание во что бы то ни стало срезать на экзаменах как можно больше юношей могло побудить сочинявших темы для письменных экзаменов по древним языкам откопать такой архаический глагол и заставить его употребить в переводе вопреки духу латинского языка и точности изложения, только потому, что и лучшие ученики могли сделать ошибку именно в этом глаголе.

При дальнейших экзаменах тот же дух придирчивости оказался и во многих, но к чести их далеко не во всех, присланных на экзамены учителей, которым инструкции, очевидно, были даны в том же направлении. Экзаменовавший нас из латыни Костев<sup>85</sup> поставил мне четыре, но изъявил наперёд свое согласие прибавить мне необходимую половинку, если я благополучно сдам остальные экзамены, тем самым показав, что он не имел намерения проваливать во что бы то ни стало. Самую ужасную придирчивость проявили: известный всем в своё время, как очень строгий экзаменатор преподаватель физики Краевич<sup>86</sup> и преподаватель математики коллежский ассессор Воронов, так и подписавший мой диплом не «преподаватель», как другие, а «коллежский ассессор Воронов». Этот господин заявлял нашим преподавателям, что он чиновник, которому приказано пропускать лишь необыкновенно способных или необыкновенно хорошо знающих, а всех остальных не пропускать. Он главным образом и срезал, как говорят, трёх из моих товарищей. Приёмы этого господина на экзамене заслуживают особого внимания. Если бы я, будучи первым математиком в школе, не обладал в то же время известной долей смелости, чтобы не сказать дерзости, благодаря тому, что был и первым шалуном во всей школе, то при его приёмах мог бы также провалиться на его экзамене. Помню, как он экзаменовал моего товарища Гамдорфа и применил к нему свой, ни на что не похожий, приём. В то время, когда Гамдорф отвечал и выводил мелом совершенно правильно и безукоризненно какие-то формулы на доске, Воронов вдруг остановил его, стал уве-

---

<sup>85</sup> Явившись на экзамен, он себя представил К. И. нашим преподавателем словами: «Костев для латыни» и также и подписался на моём аттестате, на котором красуется его подпись «Костев для латыни». (Прим. Д.П. Семёнова)

<sup>86</sup> Краевич Константин Дмитриевич (1833–1892) — преподаватель физики в средних учебных заведениях Санкт-Петербурга, автор известного учебника. (Прим. авт.)

рять, что-то, что Гамдорф вывел — неверно, поправлять его и требовать замены некоторых букв и знаков другими. Гамдорф посмотрел на него с некоторым недоумением и, вероятно, опасаясь рассердить строгого экзаменатора, начал поправлять свои формулы согласно его указаниям. «А, попались!» — воскликнул Воронов, — ваша формула была верна, а я стал нарочно её оспаривать, чтобы убедиться, насколько вы в ней уверены». И за это, только за это, других ошибок у Гамдорфа ни в ответах, ни в письменной работе не было, Воронов поставил ему три, что тогда, в экстренный год, по математике не было достаточно.

Вызванный после Гамдорфа и возмущённый поступком Воронова, я держал себя смело и решительно до дерзости, и это меня выручило. Не столько знания лучшего математика в школе, сколько его решительность, самоуверенность, даже дерзость, произвели необходимое впечатление. Воронов начал с того, что указал на допущенную мною рассеянность в письменной работе. В одной из задач, вычисляя площадь наружной поверхности цилиндра, я забыл помножить на два поверхность круга, составляющего его основание. Простите мою рассеянность, ответил я, действительно, у меня получилась наружная поверхность ведра, вместо общей поверхности цилиндра. Этот ответ, кажется, понравился. Тем не менее, когда, отвечая на разные его вопросы, я стал выводить на доске различные формулы, он стал меня поправлять, так же как он это делал с Гамдорфом. Тут я уже возмущился окончательно и дерзко сказал ему: «Не сбивайте, пожалуйста! меня не собьёте, и если на то пойдёт, то ещё посмотрим, кто кого собьёт скорее!». Оказалось, что эта дерзость и была нужна, чтобы получить у Воронова нужную отметку. Конечно, самые трудные вопросы меня не смущали, а сбивать меня он уже далее не пытался, и он поставил мне четыре с половиной, сбавив половину за ведро вместо цилиндра в письменной работе. Впрочем, пяти он всё-таки никому не поставил.

На экзамене физики я держал себя также довольно дерзко. Дело в том, что последний год нам преподавал этот предмет Стрекалов; всё преподавание его ограничивалось вычёркиванием из учебника Малинина и Буренина того, чего учить не надо. Вычеркнутыми оказались и все приборы, и способы определения теплоёмкости, а осталось одно лишь объяснение того, что называется теплоёмкостью и что такое единица тепла. При этом Стрекалов сам даже не явился на экзамен, к немалому смущению Карла Ивановича. Краевич, в числе других вопросов, спросил меня один из приборов для определения теплоёмкости. Не зная его, я стал изобретать и кое-как при помощи чего-то мною придуманного действительно показал возможность определить теплоемкость. «Это не прибор такого-то», сухо заметил Краевич. «Да, ответил я, это способ и прибор мой собственный, сейчас мною придуманный, а спрошенного Вами прибора мы не проходили», ответил я с развязностью. По космографии я отвечал совершенно безукоризненно, но так как мы проходили её по-немецки у Миттеллахера, то термины я говорил по-немецки и некоторых из них по-русски не знал. «Я не понимаю по-немецки, скажите по-русски», сказал Краевич. «Здесь сидят преподаватели — Вам переведут», ответил я. «Вы должны знать это по-русски». «Нет, — ответил я, — об этом Вы заявите по начальству в министерство народного просвещения, а не мне, а раз допущено преподавание на немецком языке, то я могу на нём ответить!» По космографии Краевич мне поставил 4, а по физике только  $3\frac{1}{2}$ , это был худший из всех баллов моего аттестата, хотя лучший сравнительно со всеми моими товарищами. Мой товарищ Петерс получил три, а остальные трое получили по  $2\frac{1}{2}$  и по 2. Таким образом, после математики и физики нас осталось двое; остальные трое уже окончательно не могли продолжать экзамен. Это обстоятельство сделало для меня особенно страшным экзамен из Закона Божьего, где мне предстояло выступить одному перед всей комиссией (Петерс был лютеранин) с автором многих учебников протоиереем Рудаковым во главе. Многим я обязан был в этом случае Постникову, который перед экзаменом просиживал со мною ночи, помогая мне в моих приготовлениях и подбодряя меня. Накануне

экзамена он сказал: «Повторите ещё утром хорошенько разделение Царства Иудейского из Ветхого Завета. Это считается очень трудным вопросом, и если Вы на него ответите хорошо — успех обеспечен, а я Вам его поставлю». Сказано — сделано, и я, конечно, в последнюю минуту занялся разделением Царства. Экзамен мой длился более часа. Добрейший отец Вениамин Тихомиров наперёд поставил мне пять, показал мне лист с этим баллом для моего ободрения. После двух вопросов, поставленных мне Рудаковым, диакон Постников спросил меня о разделении Царства. В конце концов и Рудаков поставил мне пять. Остальные экзамены сошли с меньшими затруднениями и страхами. Так они закончились, наконец, и я почувствовал себя перешедшим из детства и школы в широкую жизнь.

По окончании экзаменов Петерс и я, двое пробившихся в этой скачке с препятствиями, отправились к Карлу Ивановичу в кабинет. Он подал нам по рюмке крепкого вина и выпил за наше здоровье. При этом он первый раз говорил нам *Вы*. Пока мы были учениками, он нам, как и всем прочим, говорил *ты*.

Так расстался я со школой, в которой пробыл около восьми лет, а сам Карл Иванович обратился для меня и для большинства его учеников в искреннего друга.

Действительно, редкий директор училища и педагог был так любим и так часто навещаем бывшими своими учениками, как Карл Иванович. В день его рождения на поздравлениях, кроме хора учеников, певших кантату, всегда можно встретить множество бывших воспитанников училища, а на ежегодных, долгое время повторявшихся и подчас очень многолюдных обедах бывших учеников, сходились и ученики, и преподаватели и всегда с особым удовольствием встречали директора и основателя школы Карла Ивановича.

Теперь, когда дети мои обучались и обучаются в тех же стенах, в которых обучался и я сам, когда некоторые из них уже окончили курс и сходились на такие же наши обеды, я уже перестал почти встречать на этих обедах своих старых товарищей и своих преподавателей. Многие из них уже отошли в жизнь вечную, как и сам Карл Иванович, другие разбросались по всему белу свету, но думаю, что и им, этим разбросанным, всё ещё дороги воспоминания о той школе, где они учились, и быть может многие из них не без интереса прочтут мой незатейливый рассказ, вспоминая давно минувшие, но счастливые дни.

*Д. Семёнов*